

Павел Бирюков

**Биография Л.Н.Толстого.
Том 2. 2-я часть**



Павел Иванович Бирюков

Биография Л.Н.Толстого.

Том 2. 2-я часть

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22214995
Биография Л.Н.Толстого. Том 2. 2-я часть: 1905

Аннотация

«...В четвертый раз мы возвращаемся к этому богатому по деятельности и напряженной энергии периоду жизни Л. Н-ча в 70-х годах, чтобы дополнить ее описанием различных мелких фактов личной и семейной жизни Л. Н-ча. Мы выделяем их в особую главу, так как эти факты могли бы нарушить изложение тех главных событий в жизни Л. Н-ча, которым посвящены предыдущие главы этого периода. Перед нами протекут сами по себе неважные, малозначительные факты из жизни Льва Н-ча, но которые мы не находим возможным упустить, так как они создают общую картину его семенной жизни, той среды, в которой он жил, и готовят переход его к жизни в новой области его сознания...»

Содержание

Глава 11. Частная и семейная жизнь Льва Николаевича в начале 70-х годов	4
Глава 12. Продолжение	28
Глава 13. Примирение Тургенева с Толстым	52
Часть IV. Критический период	67
Глава 14. Кризис	67
Глава 15. Влияние кризиса на отношение Льва Николаевича к окружающей среде	103
Глава 16. Критическая работа	130
Часть V. Обновленная жизнь	156
Глава 17. Событие 1 марта 1881 года	156
Глава 18. Личная и семейная жизнь Льва Николаевича начала восьмидесятых годов	173
Глава 19. Жизнь Льва Николаевича в Москве в начале 80-х годов	208
Глава 20. «В чем моя вера?»	261
Глава 21. Заключительная	290

Павел Иванович Бирюков

Биография Л. Н. Толстого.

Том 2. 2-я часть

Глава 11. Частная и семейная жизнь Льва Николаевича в начале 70-х годов

В четвертый раз мы возвращаемся к этому богатому по деятельности и напряженной энергии периоду жизни Л. Н-ча в 70-х годах, чтобы дополнить ее описанием различных мелких фактов личной и семейной жизни Л. Н-ча. Мы выделяем их в особую главу, так как эти факты могли бы нарушить изложение тех главных событий в жизни Л. Н-ча, которым посвящены предыдущие главы этого периода. Перед нами протекут сами по себе неважные, малозначительные факты из жизни Льва Н-ча, но которые мы не находим возможным упустить, так как они создают общую картину его семейной жизни, той среды, в которой он жил, и подготавливают переход его к жизни в новой области его сознания.

Семейная жизнь Л. Н-ча именно в 70-х годах достигла своей определенной формы. В 60-х годах она еще не успе-

да установиться. Детский вопрос еще только назревал, а все духовные интересы, оставшиеся свободными от удовлетворения первыми семейными радостями, поглощались гигантской работой над «Войной и миром».

К началу же 70-х годов назрел вопрос воспитания детей, литературные работы уже не поглощали его так без остатка, как прежде, и семейно-хозяйственные интересы и связанные с ними заботы и хлопоты создали целую новую область отношений. В конце 70-х годов во Л. Н-че снова поднимаются прежние вопросы, мучившие его еще до женитьбы, его внутренняя жизнь приближается к кризису, семейная жизнь надламывается, и 80-ые годы уже не представляют нам той целостности и гармонии в жизни его семьи.

Вот почему мы дольше, подробнее останавливаемся на этой эпохе. Она даст нам факты, которые больше не могут повториться.

В мае 1870 года Л. Н-ч писал Фету:

«Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьевич, возвращаясь потный с работы, с топором и заступом, следовательно, за тысячу верст от всего искусственного и в особенности от нашего дела. Развернув письмо, я первое прочитал стихотворение, и у меня защипало в носу; я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Стихотворение – одно из тех редких, от которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя, оно живое само и прелестно. Оно так хорошо, что мне кажется, это не случай-

ное стихотворение, а что это первая струя давно задержанного потока. Грустно подумать, что после того впечатления, которое произвело на меня это стихотворение, оно будет напечатано на бумаге в каком-нибудь «Вестнике», и его будут судить С-ны и скажут: «А Фет все-таки мило пишет».

«Ты нежная...» Да и все прелестно. Я не знаю у вас лучшего. Прелестно все. Я только что отслужил неделю присяжным, и было очень, очень для меня интересно и поучительно.

Вы спрашиваете моего мнения о стихотворении, но ведь я знаю то счастье, которое оно вам дало сознанием того, что оно прекрасно, и что оно вылезло все-таки из вас, что оно – вы. Прощайте, до свиданья».

Летом 70-го года началась франко-прусская бойня. Мы знаем, что Л. Н-ч живо интересовался событиями войны, сочувствовал французам и был убежден в их победе. Ненависть к прусскому милитаризму давала и тут себя знать.

Мы упоминали уже, что зимой 70-71-го года он с увлечением занимался изучением греческого языка и, расстроив свое здоровье, должен был предпринять поездку на кумыс.

Увеличение семьи потребовало, наконец, расширения дома. В конце 1871-го года была сделана к дому пристройка, которая составляет теперь наверху яснополянского дома залу, а внизу – прихожую и библиотеку. Окончание этой пристройки было отпраздновано на рождественских праздниках съездом родных и гостей и ознаменовалось маскарадом, в котором принимал участие и сам Л. Н-ч. В общество гостей

явились внезапно ряженые: вожатый с двумя медведями и козой. Вожатым был Дм. Ал. Дьяков, медведями – Иславин и родственник Толстой, а козой, к общему удивлению и восторгу, – сам Лев Николаевич.

Начало 1872 года застаёт Л. Н-ча в грустном, но глубоко серьёзном настроении. Вот одно из замечательнейших его писем к Фету, выражающих с необыкновенною ясностью его психологический момент, его ищущую, но ещё не просветлённую душу, сильную своей правдивостью, не боящуюся называть вещи своими именами:

«Уж несколько дней, как получил ваше милое и грустное письмо и только нынче собрался ответить.

Грустное, потому что вы пишете – Тютчев умирает, слух, что Тургенев умер, и про себя говорите, что машина стирается и хотите спокойно думать о нирване. Пожалуйста, известите поскорее, фальшивая ли это была тревога. Надеюсь, что да, и что вы без Марьи Петровны маленькие признаки приняли за возвращение вашей страшной болезни.

О нирване смеяться нечего и тем более сердиться. Всем нам (мне, по крайней мере), я чувствую, она гораздо интереснее, чем жизнь, но я согласен, что сколько бы я о ней ни думал, я ничего не придумаю другого, как то, что эта нирвана – ничто. Я стою только за одно – за религиозное уважение, ужас к этой нирване.

Важнее этого все-таки ничего нет.

Что я разумею под религиозным уважением? – Вот что. Я недавно приехал к брату, а у него умер ребенок и хоронят. Пришли попы, и розовый гробик, и все, что следует. Мы с братом невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности. А потом я подумал: ну, а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребенка? Как вообще прилично кончить дело? Лучше нельзя (я, по крайней мере, не придумал), как с панихидой, ладаном и т. д. Как самому слабеть и умирать? Мочиться под себя, п... больше ничего? Нехорошо. Хочется вполне выразить значительность и нежность, торжественность и религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием. И я тоже ничего не могу придумать более приличного для всех возрастов, всех степеней развития, как обстановка религиозная. Для меня, по крайней мере, эти славянские слова отзываются совершенно тем самым метафизическим восторгом, который ощущаешь, когда задумаешься о нирване. Религия уже тем удивительна, что она столько веков, стольким миллионам людей оказывала ту услугу, наибольшую услугу, которую может в этом деле оказать что-либо человеческое. С такой задачей как же ей быть логической? Но что-то в ней есть. Только вам я позволяю себе писать такие письма. А написать хотелось, и что-то грустно, особенно от вашего письма.

Напишите, пожалуйста, поскорее о вашем здоровье.

Ваш *Лев Толстой*».

30 января 1872 года.

Я ужасно не в духе. Работа затеянная страшно трудна, подготовки изучения нет конца, план все увеличивается, а сил, чувствую, все меньше и меньше. День здоров, а три нет».

Конец зимы и весну, как мы видели. Л. Н-ч был занят школой и окончанием своей «Азбуки», которую он потом сдал для издания Н. Н. Страхову.

Расстроив свое здоровье, он съездил подкрепиться на ку-мыс, а по возвращении в Ясную Поляну узнал об ужасном событии, совершившемся без него. Бык забодал насмерть одного из его работников. Было возбуждено судебное следствие, и Л. Н-ч был привлечен к ответственности. Дело это, в котором Л. Н-ч юридически был только весьма отдаленной причиной, доставило Л. Н-чу много душевных страданий.

И страдания эти были двоякого рода. Кроме душевной тяжести, доставленной сознанием, что в его деле пострадал и умер рабочий человек, кормилец семьи, местные судебно-полицейские власти доставили ему еще много страданий своею бестактностью, привлечением его к ответственности, обязав подпискою о невыезде, и долгой проволочкой этого дела, кончившегося, как и следовало ожидать, с судебной стороны ничем.

Об этом событии мы узнаем, между прочим, из переписки Л. Н-ча со своей теткой, гр. А. А. Толстой, воспоминания о которой сообщает Захарьин-Якунин. Л. Н-ч обращается к графине в письме с описанием своего горя и начинает это письмо так:

«Любезный друг Александрин! Вы одна из тех людей, которые всем существом своим говорят: «Я хочу разделить с тобой твои горести, а ты со мной – свои радости», и я вот, всегда рассказывающий вам о своем счастье, теперь ищу вашего сочувствия в моем горе. Нежданно-негаданно на меня обрушилось событие, изменившее всю мою жизнь».

Судебный следователь из молодых, явившийся произвести дознание по этому делу, обязал Л. Н-ча подпиской о невыезде. В это же время Л. Н-ч был назначен присяжным, и его оштрафовали за неявку. Все это, конечно, не могло не расстроить Л. Н-ча. Он так заканчивает свое письмо к гр. А. А. Толстой:

«...Страшно подумать, страшно вспомнить о всех мерзостях, которые мне делали, делают и будут делать... С седой бородой, шестью детьми и с сознанием полезной и трудовой жизни, с твердой уверенностью, что я не виноват, с презрением, которого я не могу не иметь к новым судам, сколько я их видел, с одним желанием, чтобы меня оставили в покое, как я всех оставляю в покое... Невыносимо жить в России – со страхом, что каждый мальчик, которому лицо мое не понравилось, может заставить меня сидеть на лавке перед су-

дом, а потом в остроге...»

Вся эта тяжелая история кончилась тем, что Л. Н-ч был освобожден по этому делу от суда и следствия, а всю ответственность взвалили на его управляющего, которого эти «мальчишки» и привлекли к делу в качестве обвиняемого... Относительно же Л. Н-ча было признано, что следователь привлек его к делу «по ошибке», что подписка о невыезде была взята тоже «ошибочно», равно как и самый штраф был наложен «по ошибке» же... Впоследствии оказалось, что управляющий именем был привлечен к делу зря, и оно, в конце концов, прекращено, – под большой шум, поднятый газетами того времени.

Об этом событии рассказывает в своих воспоминаниях о Льве Николаевиче кн. Д. Д. Оболенский, добавляя некоторые интересные подробности:

«Однажды Л. Н. Толстой опоздал на сборный пункт охоты, который был у меня в Шаховском (имение мое в 35 верстах от Ясной Поляны), и приехал крайне расстроенный: оказалось, что судебный следователь в это утро допрашивал его в качестве обвиняемого за неосторожное держание скота, так как его бык забодал пастуха, и следователь обязал Толстого невыездом из Ясной Поляны, т. е. отчасти лишил его свободы. Как человек горячий, Л. Н-ч был крайне возмущен действиями следователя, который всего несколько дней перед этим найденное мертвое тело какого-то неизвестного отвез в ближайшую усадьбу какой-то помещицы и стал мертво-

го вскрывать у нее на террасе. Лев Николаевич никак не мог успокоиться, ибо считал себя страшно стесненным подпискою, которую с него требовали, о невыезде. «Одного яснополянского крестьянина полтора года следовательно продержал в остроге по подозрению в краже коровы, а после оказалось, что украл не он, – рассказывал Л. Н-ч. – Так и меня продержат теперь год. Это бессмысленно, это полнейший произвол этих господ. Я все продам в России и уеду в Англию, где есть уважение к личности всякого человека, а у нас всякий становой, если ему не кланяются в ноги, может сделать величайшую пакость». Самарин живо возражал Л. Н-чу, доказывая, что не только смерть человека, но и увечье, ему причиненное, настолько серьезный факт сам по себе, что не может остаться необследованным со стороны судебных властей, как в данном случае. Спорили долго, и, кажется, Самарин переубедил Толстого, который, ложась спать, мне сказал: «Удивительная способность П. Ф. Самарина успокаивать людей».

Наконец сам Л. Н-ч пишет об этом П. Страхову:

15 сентября 1872. Ясная.

«Вы, верно, сердитесь и досадуете на меня, дорогой Николай Николаевич, и имеете полное право, за то, что я не ответил, не посылал денег и не посылаю арифметики 4-й книги. Я виноват, но вы не можете себе представить, до чего я расстроен и взволнован все эти дни. Случилось во время моего отсутствия в Самаре, что молодой бык убил насмерть пасту-

ха. И я узнал, что такое наши суды и под каким дамокловым мечом мы все живем. Я под следствием, связан подпиской не выезжать из дома. Тут же мне привелось быть присяжным, и вы не можете себе представить всех мелких мерзостей, которые мне делает суд, и признаюсь, как это ни стыдно, что я еще не дошел до положения Аксенова. Может быть, дойду, когда меня посадят в острог, что очень возможно, но теперь я раздражен так, что болен физически и нравственно, и не могу ни о чем думать, кроме как о том, за что мучают человека, который всех оставляет в покое и только об одном и просит, чтобы его оставили в покое. Теперь я так раздражен, что решил уехать в Англию и продать все, что имею в России. Не буду описывать вам всего. Это скучно и меня раздражает».

Как всякий вспыльчивый человек, Л. Н-ч был отходчив. Через неделю он пишет тому же Страхову уже более спокойное письмо:

23 сентября 1872. Ясная.

«Тревога моя понемногу утихла. Я могу уже без злости любоваться на полноту того безобразия, которое называют самая жизнь. Можете себе представить, что меня промучили месяц, и до сих пор подписка о невыезде не снята, и нашли, что кто-то (следователь) ошибся, что точно это дело до меня не касается и что если вместо того, чтобы по закону кончить всякое дело в 7-дневный срок, идет дело 2-й месяц и

еще не кончилось, то это «маленькое несовершенство, свойственное человечеству». Точно как бы приставленный дворник убил бы своего хозяина и все дворники побили бы тех, кого они приставлены беречь, и сказали бы: что же делать, человеческое несовершенство.

Я было начал писать статью, но бросил: совестно сердиться на такую очевидно сознательную и самодовольно глупую и смешную штуку, т. е. все это правосудие. В Англию тоже не еду, потому что дело не дошло до суда. А я решил, что в случае суда уеду, и уехал бы. Все расскажу вам – бог даст».

В ноябре Л. Н-ч уже настолько успокоился, что мог написать Фету такое шуточное стихотворение:

Как стыдно луку перед розой,
Хотя стыда причины нет,
Так стыдно мне ответить прозой
На вызов ваш, любезный Фет.
Итак, пишу впервой стихами,
Но не без робости, ответ.
Когда? куда? решайте сами,
Но заезжайте к нам, о Фет!
Сухим доволен буду летом,
Пусть погибают рожь, ячмень.
Коль побеседовать мне с Фетом
Удастся вволю целый день.
Заботливы мы слишком оба,
Пускай в грядущем много бед,
Своя довлеет дневи злоба –

Так лучше жить, любезный Фет.

«Без шуток, пишите поскорее, чтобы знать, когда выслать за вами лошадей. Ужасно хочется вас видеть».

В ноябре же вышла «Азбука», и вскоре Н. Н. Страхов, освободившись от этого огромного труда, мог посетить Льва Николаевича, который уже давно звал его и ждал к себе.

В письме гр. С. А. к сестре ее Т. А. Кузминской от 14 ноября есть короткая заметка: «Был у нас Страхов, прожил 5 дней; с ним было приятно, он так умен и образован».

В письмах Л. Н-ча заметно, что это посещение оставило глубокий след. Мы воспользуемся этим поводом, чтобы сказать несколько слов об отношениях этих двух друзей, по характеру своему столь отличных друг от друга. Из приведенных нами цитат в обзоре критической литературы «Войны и мира» можно видеть то безмерное уважение, которое питал Страхов к Л. Н-чу. Н. К. Михайловский, говоря о Страхове, замечает, что он не может себе вообразить Страхова рядом с Толстым иначе как коленопреклоненным. И действительно, Страхов безмерно уважал и искренно любил Л. Н-ча. Михайловский, несмотря на эту шутку, отдает дань уважения Н. Н. Страхову, признает в нем проницательный критический ум и даже называет его в одном месте «русским Ренаном».

Из писем Л. Н-ча к Страхову видно отношение Толстого к этому еще так мало оцененному мыслителю. После одного из посещений Страховым Ясной Поляны Лев Николаевич писал ему, между прочим, следующее:

«Знаете ли, что меня в вас поразило более всего? Это выражение вашего лица, когда вы раз, не зная, что я в кабинете, вошли из сада в балконную дверь. Это выражение, чуждое, сосредоточенное и строгое, объяснило мне вас (разумеется, с помощью того, что вы писали и говорили). Я уверен, что вы предназначены к чисто философской деятельности. Я говорю «чисто» в смысле отрешения от поэтического, религиозного объяснения вещей. Ибо философия чисто умственная есть уродливое западное произведение, и ни грек Платон, ни Шопенгауэр, ни русские мыслители не понимали ее так. У вас есть одно качество, которое я не встречал ни у кого из русских: это – при ясности и краткости изложения мягкость, соединенная с силой: вы не зубами рвете, а мягкими сильными лапами. Я не знаю содержания вашего предполагаемого труда, но заглавие мне очень нравится, если оно определяет содержание в общем смысле. Но да не будет это статья, но, пожалуйста, сочинение. Но бросьте развратную журнальную деятельность. Я вам про себя скажу: вы, верно, испытываете то, что я испытывал тогда, когда жил, как вы (в суете), что изредка выпадают в месяцы часы досуга и тишины, все время которых вокруг тебя устанавливается понемногу ни-

чем не нарушимая своя собственная атмосфера, и в этой атмосфере все жизненные явления начинают размещаться так, как они должны быть и суть для тебя, и чувствуешь себя и свои силы, как измученный человек после бани. И в эти-то минуты для себя (не для других) истинно хочется работать и бываешь счастлив одним сознанием себя и своих сил, иногда и работы. Это-то чувство вы, я думаю, испытываете, и нередко, и я прежде, теперь же это мое нормальное положение, и только изредка я испытываю ту суету, в которой и вы меня застали и которая только изредка перерывает это состояние. Вот этого-то я бы желал вам».

В свое посещение в ноябре 1872 года Н. Н. Страхов привез Л. Н-чу свою вновь вышедшую книгу «Мир как целое» и оставил Льву Николаевичу для прочтения. Л. Н-ч внимательно прочел ее и написал автору следующее критическое письмо:

12 ноября 1872 года.

«Дорогой и многоуважаемый Николай Николаевич!

Все время после вашего отъезда (4 дня) занимался исключительно вами, читал вашу книгу. И хоть, может быть, все вам не нужно мое мнение, она произвела на меня такое сильное действие, что я чувствую потребность написать вам о ней. Я читал ее и не мог оторваться, и читал внимательно, с карандашом – делал отметки там, где был поражен, и перечитывал те места. Общее впечатление: 1) Я узнал мно-

го нового и не случайного, того самого, что нужно знать. 2) Много вопросов, смутно представляющихся мне, поставлены и разрешены ясно, ново и сильно. (Мне совестно вспоминать о том, как я попал на легкое мнение об этой книге только потому, что все статьи уже напечатаны. Я сделал ложнейшее заключение: было напечатано. Ничего не слышно было, стало быть, ничего особенного. Как сильны привычки!) 3) Много, ужасно много вопросов неразрешенных. Чувствуется, в каком смысле должен разрешить их автор, и боишься за него. 4) Неприятное впечатление неровности тона и даже некоторой непоследовательности предметов всей книги. – Поймите меня. Есть такая глубина и ясность во многих местах, что она указывает на необходимую строгую последовательность в мирозерцании автора, а от этой последовательности отступает книга. Теперь частности – 1, 2, 3, 4, 5 письма. Все прекрасно, но в 5 письме, стр. 75 и 74, автор говорит о духе, о том, что постижение должно быть начато с духа. Почему? Человек отличается от остального мира, на мои глаза, вовсе не духом, который я совершенно не понимаю, но тем, что он судит о самом себе, когда судит о человеке, и судит не о себе, когда судит о вещах. Судить о самом себе, вернее – иметь себя предметом своим, мы называем сознание. Поэтому разница должна быть резкая, но она основана не на объективном чем-то – духе, но на том отношении, в котором стоит человек к предметам вне себя и в себе. С выводом я согласен, что человек должен начинать

постижение с себя, а не с вне себя, но не согласен с объективным духом, противопоставляемым объективному миру как какой-то дух. И не согласен потому, что дальше различие это становится существенным. Далее, на 76-й стр., отличая круговорот от жизни, автор опровергает смешение этих двух понятий не духом, а сознанием жизни. И это место прекрасно. Вся эта глава прекрасна, но на 89 стр. и до конца опять являются понятия, вытекающие только из веры в дух – совершенствование. Для сознания человека, т. е. для мысли человека, устремленной на самого себя, может быть совершенство только относительное, но не абсолютное. Это вопрос ужасно сложный, о котором я жалею, что не поговорил с вами. В письме невозможно сказать. Попробую коротко сказать свои убеждения. Совершенство зоологическое, на котором вы настаиваете, даже умственное, которое вытекает из зоологического, есть совершенство только относительное, вытекающее из того, что человек сам на себя смотрит. Муха – такой же центр и апогей всего создания. Но есть совершенство нравственное, религиозное (буддизм, христианство), которое ничем не доказывается, которое несомненно и которое даже не может быть сравниваемо ни с чем, почему не может быть называемо совершенством (понятие совершенства вытекает из понятия степеней), короче, это – понятие добра. И понятие это таково, что нельзя про него сказать, что оно есть больше или меньше, что оно есть у человека, но его нет у животных. – Оно есть у человека, оно – сущ-

ность всей жизни, и потому его не может быть ни больше, ни меньше. В 4-м письме, стр. 92, 93, вы прекрасно говорите о непогрешимости ума, убеждений. Я представляю вместо ума убеждения, сознание жизни, которого сущность есть добро. Следовательно, чем более сознана эта сущность, тем она более совершенна. Прекрасно об инфузориях (98 стр.), прекрасно проведено понятие организма из совершенствования и о смерти, но посылка, что цель человеческой жизни есть совершенствование, совпадающее с совершенствованием организма, умаляет значение человеческой жизни. И факт недовольства жизнью, выражающийся не в одних поэтах, но в миллионах людей (христианство, буддизм), есть факт, который нельзя объяснить заблуждением. Он имеет самый законный корень. Он имеет основанием сущность жизни. И как объяснение и материалистов недостаточно (что и доказывает автор) именно потому, что они упускают из расчета способность сознания (духа), так и объяснение автора недостаточно, потому что он упускает из виду сущность жизни. Письмо 8-е прелестно, особенно кристаллы: это гениальное определение основ деления на неорганическое, органическое и животное. Письмо 9-е мне все не нравится и по форме, и по содержанию, я бы его все выбросил. Жители планет и птицы не нравятся, несмотря на обилие интересных данных, с вашей ясностью и умелостью изложенных, не нравятся жители планет и по содержанию, и обе главы – по совершенно другому и нестрогую тону. Чем отличается че-

ловек от животного, — эти две главы опять прежний тон и опять превосходны. Мысль о пределе поразительна. Опровержение мнимого места человека, даваемого натуралистами, превосходно. Я только для своего удобства подставляю: натуралисты хотят найти место человеку, не пользуясь сознанием, т. е. взглядом на самого себя. Точно так, как (грубое сравнение) я бы захотел узнать свое место в комнате, измерив расстояние между всеми предметами в комнате, а не от себя до предметов. Вторая часть, насколько могу судить, вся превосходная. Я нашел в ней в первый раз ясное изложение смысла физики и химии. Я нашел с ясностью (будто бы), легкостью разрешенными часть тех сомнений и вопросов, которые занимали меня, но, кроме того, я нашел ясное указание на точно существенное в этих науках. Эта вся часть исчерчена мною карандашом, и не знаю, что лучше.

Поразительнее же всего для меня не только критика химии, но и изложение возможно нового взгляда. Прекрасно тоже объяснение сущности материалистического взгляда, состоящего в представлении. Два только пятна нашел я в этом солнце. И все это Гегель. На 380 стр. выписка из Гегеля, которая, может быть, прекрасна, но в которой я не понимаю, прочтя несколько раз, ни единого слова. Эта моя судьба с Гегелем и на стр. 451: «Чистая мысль эфирна» и т. д. до точки. Я ничего не понимаю. Менее всего понимаю, как с вашей ясностью может уживаться этот сумбур. Не знаю, пошлю ли это письмо. Во всяком случае скажу, что хотел сказать. Мое

мнение о вас очень высоко, но я не совсем доверял ему (я боялся, что подкуплен), но теперь, по прочтении вашей книги, я не имею более недоверия, и мнение о вашей силе еще увеличилось. Дай вам бог спокойствия и духовного досуга.

Вы бы меня очень порадовали, если бы написали мне так же искренно, как я вам, свое мнение о моей критике вашей книги».

Осенью 1873 года был сделан первый живописный портрет со Льва Николаевича художником Крамским.

Еще в 1869 году Фет написал Льву Николаевичу, прося позволить списать с него портрет. На это Л. Н-ч отвечал ему:

«Насчет портрета я прямо говорил и говорю: нет. Если это вам неприятно, то прошу прощения. Есть какое-то чувство сильнее рассуждения, которое мне говорит, что это не годится».

Художнику Крамскому, которому Третьяков поручил сделать портрет Л. Н-ча в 1873 г., предстояла трудная задача.

С. А. Берс рассказывает о том, каким путем Крамскому удалось это сделать:

«Лев Николаевич не любил фотографию, очень редко снимался и сам уничтожал потом негатив. Он предпочитал самого плохого художника самой лучшей фотографии.

Известному портретисту Крамскому было поручено, если не ошибаюсь, г. Третьяковым написать портрет Льва Николаевича. Знаменитый художник тщетно разыскивал его фо-

тографию. По скромности он не решался просить сеанса, потому что не был знаком и слышал о замкнутой жизни в Ясной Поляне. Тогда он поселился в пяти верстах от Ясной Поляны на даче, мимо которой Лев Николаевич иногда проезжал верхом. Тут он и возымел намерение написать портрет его в кафтане на лошади. Вскоре все это обнаружилось, и он был любезно приглашен в Ясную Поляну».

Лев Николаевич в письме к Фету, которому он раз уже отказал, как бы извиняется, что согласился на этот раз.

25 сентября 1873 года он пишет:

«У меня каждый день, вот уже с неделю, живописец Крамской делает мой портрет в Третьяковскую галерею, и я сижу и болтаю с ним и из петербургской стараюсь обращать в крещеную веру. Я согласился на это, потому что сам Крамской приехал, согласился сделать другой портрет очень дешево для нас, и жена уговорила».

Гр. С. А. сообщает об этом в письме к своей сестре Т. А. следующие подробности:

«У нас теперь всякий день бывает художник, живописец Крамской, и пишет два Левочкиных портрета масляными красками. Ты, верно, прежде слышала, что Третьяков собирает галерею портретов русских замечательных людей. Он давно присылал просить позволить списать с Левочки портрет, но он не соглашался. Теперь же сам живописец уговорил, и Левочка согласился с тем, чтобы он взял на себя заказ портрета другого, который остается у нас и будет стоить

около 250 руб. Теперь пишутся оба сразу и замечательно похожи, смотреть страшно даже».

С конца 1873 г. наступает скорбный период в Ясной Поляне, продолжавшийся два года и принесший семейству Толстых пять смертей.

18 ноября умер маленький мальчик Петя, полуторагодовалый ребенок.

Л. Н-ч писал об этом Фету:

«У нас горе: Петя меньшей заболел крупом и в два дня умер. Это первая смерть за 11 лет в нашей семье, и для жены очень тяжелая. Утешаться можно, что если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех и для всех, но сердце, и особенно материнское – это удивительное высшее проявление божества на земле, – не рассуждает, и жена очень горюет».

Мы не можем удержаться, чтобы не привести здесь и письма гр. С. А. к ее сестре Т. А. о том же событии:

«9 ноября умер у нас маленький Петя болезнью горла. Что это было, бог знает! Более всего похоже на круп. Началось хрипотой, которая усиливалась все более и через двое суток унесла его. Последний час хрипота уменьшилась и, наконец, лежа в постельке, не просыпаясь, не метаясь даже, тихо, как будто заснул, умер этот веселый, толстенький мальчик и остался такой же полный, кругленький и улыбающийся, каким был прежде.

Страдал он, кажется, мало, спал много во время болезни,

и не было ничего страшного, ни судорог, ни мучений, и за то слава богу. И даже и то я считаю милостью, что умер меньшей, а не один из старших. Нечего вам говорить, до чего все-таки тяжела эта потеря. Вы испытали хуже и знаете всю боль, какую испытываешь, когда отрывается от своей жизни частица, ничем не заменимая. Прошло уже десять дней, а я хожу все как потерянная, все жду услышать, как бегут быстрые ножки и как кличет его голосок меня еще издалека. Ни один ребенок не был ко мне так привязан и ни одни не сиял таким весельем и такой добротой. Во все грустные часы, во все минуты отдыха после ученья детей я брала его к себе и забавлялась им, как никем из других детей не забавлялась прежде. И теперь все осталось, но пропала вся радость, все веселье жизни... И пошла опять теперь наша жизнь по-старому, и только для меня одной потух радостный свет в нашем доме – свет, который давал мне веселый, любящий добряк Петя и которым освещались все мои самые грустные минуты».

И вот, только что успела семья Толстых оправиться от этого горя, как постигло их новое горе, хотя и не столь острое. 20 июня 1874 г. тихо отошла в вечность любимая всеми и всех любившая тетушка Л. Н-ча, Татьяна Александровна Ергольская.

Мы уже приводили в воспоминаниях Льва Николаевича его описание последних дней жизни, смерти и похорон ее. Через два дня после похорон Л. Н-ч писал об этом Фету:

Мы третьего дня похоронили тетушку Татьяну Алексан-

дровну. Она медленно и равномерно умирала, и я привык к умиранию ее, но смерть ее была, как и всегда смерть близкого и дорогого человека, совершенно новым, единственным и неожиданно-поразительным событием. Остальные здоровы и дом наш так же полон».

И вот опять через полгода, в феврале 1875 года, умирает 10-месячный ребенок Николушка.

«У нас горе за горем; вы с Марьей Петровной, верно, пожалеете нас, главное Союю. Меньшой сын, 10-ти месяцев, заболел недели три тому назад той страшной болезнью, которую называют головною водянкой, и после страшных 3-недельных мучений третьего дня умер, а нынче мы его схоронили. Мне это тяжело через жену, но ей, кормившей самой, было очень трудно».

«Да, ей действительно было трудно. Описывая в письме к своей сестре со всеми подробностями, от чтения которых сжимается сердце, всю эту непонятную по своим мучительным страданиям смерть и похороны с зимней вьюгой, она заключает свое описание словами:

«Теперь, Таня, я свободна, но как тяжела мне эта свобода, как я чувствую себя потерянной, ненужной, ты себе представить не можешь. Этого мальчика я любила за двух: и за умершего Петю, и за него самого. С какою любовью и старанием я выхаживала его, и наряжала, и радовалась на него, и все его воспитание я вела добросовестнее, чем всех других. Но мне часто казалось, что он жив не будет, – я всегда гово-

рила: нет, и этот не настоящий».

Большая часть 1875 года прошла благополучно; мы уже знаем, что летом вся семья ездила в самарское имение, где были башкирские скачки, и вообще старые горести стали понемногу сглаживаться. Но в конце ноября Софья Андреевна, заразившись от детей коклюшем, преждевременно родила девочку, которая через полчаса умерла. Конечно, эта маленькая смерть не произвела на окружающих большого впечатления. Но вот через месяц, 22 декабря, еще новая смерть – тетушки Пелагеи Ильинишны Юшковой.

Хотя с этой тетушкой и не было столь нежных отношений, но сила привычки, воспоминания юности, проведенной в ее доме, наконец, ее постоянная жизнь последние два года в семье Толстых, – все это заставило еще раз перечувствовать все жало смерти и наложило новую тень грусти на этот жизнерадостный в обычное время яснополянский семейный кружок.

Глава 12. Продолжение

1876 год начинается тоже невесело.

1 марта Л. Н-ч пишет Фету:

«...У нас все не совсем хорошо. Жена не оправляется с последней болезни, кашляет, хуеет, – то лихорадка, то мигрень. А потому и нет у нас в доме благополучия и во мне душевного спокойствия, которое мне особенно нужно теперь для работы. Конец зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время...»

Мы знаем, что в этот период начавшихся уже в нем религиозных исканий Л. Н-ч увлекался музыкой, вероятно, находя в ней некоторое успокоение.

К этому же году следует отнести знакомство Л. Н-ча с одним замечательным русским человеком, известным композитором Петром Ильичем Чайковским. Хотя знакомство это и было непродолжительно и не дало видимых результатов, но мы полагаем, что невидимые результаты были и, кроме того, в сношениях этих двух людей были характерные для них обоих черты, которые мы и приведем здесь, заимствуя их из дневника и писем П. И. Чайковского, изданных его братом М. И. Чайковским.

Вот как рассказывает П. И. о своем знакомстве со Л. Н-чем в Москве в своем письме к А. Давыдовой от 23 декабря 1876 г.:

«На днях здесь провел несколько времени граф Л. Н. Толстой. Он у меня был несколько раз, провел два целых вечера. Я ужасно польщен и горд интересом, который ему внушаю, и со своей стороны вполне очарован его идеальной личностью».

Брат П. И. комментирует так эти сведения:

«Еще молодым правоведом, с первого появления в печати произведений Льва Николаевича Толстого, Петр Ильич полюбил этого писателя больше всех остальных. Любовь эта росла по мере возрастания значительности творений великого романиста и обратилась в настоящий культ этого имени. Впечатлительности и воображению Петра Ильича свойственно было всему, что он любил, но чего, так сказать, не осязал, придавать фантастические размеры, поэтому творец «Детства» и «Отрочества», «Казачков» и «Войны и мира» ему представлялся не человеком, а, по его выражению, «полубогом». В то время личность Льва Николаевича, его биография, частная жизнь, даже портреты почти не были известны массе, и это обстоятельство еще больше способствовало представлению Петра Ильича о нем, как о существе почти волшебном. И вот этот таинственный чародей вдруг спустился с недостижимых своих высот и первый пришел протянуть ему руку».

«Когда я познакомился с Толстым, – говорит Петр Ильич десять лет спустя в дневнике 1886 г., – меня охватил страх и чувство неловкости перед ним. Мне казалось, что этот вели-

чайший сердцеведец одним взглядом проникнет во все тайники моей души. Перед ним, казалось мне, уже нельзя скрывать всю дрянь, имеющуюся на дне души, и выставлять лишь казовую сторону.

Если он добр (а таким он должен быть, конечно), думал я, то он деликатно, нежно, как врач, изучающий рану и знающий все наболевшие места, будет избегать задеваний и раздражать их, но тем самым и даст мне почувствовать, что ничего для него не скрыто. Если он не особенно жалостлив, он прямо пальцем ткнет в центр боли. И того, и другого я страшно боялся. Но ни того, ни другого не было. Глубочайший сердцеведец в писании оказался в своем обращении с людьми простой, цельной, искренней натурой, весьма мало обнаруживающей то всеведение, которого я боялся; он не избегал задеваний, но и не причинял намеренной боли. Видно было, что он совсем не видел во мне объекта для своих наблюдений, просто ему хотелось поболтать о музыке, которою он в то время интересовался. Между прочим, он любил отрицать Бетховена и прямо выражал свое сомнение в его гениальности. Это уже черта, совсем не свойственная великим людям. Низводить до своего непонимания всеми признанного гения – свойство ограниченных людей».

Но Лев Толстой не только хотел «поболтать о музыке» с Петром Ильичом. Он также хотел высказать ему тот интерес, который ему внушили его композиции. Польщенный, по собственным словам, «как никогда в жизни», Петр Ильич

просил Н. Рубинштейна устроить в консерватории музыкальный вечер исключительно для великого писателя. На этом вечере, между прочим, было исполнено анданте из Д-дурного квартета, и при звуках его Лев Николаевич разрыдался при всех. «Может быть, никогда в жизни я не был так польщен, – говорит Петр Ильич в том же дневнике, – и тронут в моем авторском самолюбии, как когда Лев Толстой, слушая анданте моего квартета и сидя рядом со мною, залился слезами».

Л. Н-ч, всегда в своем сердце и мыслях носивший желание послужить развитию самобытных народных сил, сам много потрудившись для этого, искал и в других сильных людях сотрудников себе в этом деле. И вот, познакомившись с Чайковским и оценив силу его таланта, он захотел и его притянуть к дорогому для него делу народного искусства.

Результатом этого желания была посылка Чайковскому сборника записанных народных песен при следующем письме:

«Посылаю вам, дорогой Петр Ильич, песни. Я их еще пересмотрел. Это удивительное сокровище в ваших руках. Но, ради бога, обработайте их и пользуйтесь в моцартовско-гайдовском роде, а не в бетховено-шумано-берлиозо-искусственном, ищущем неожиданного, роде. Сколько я не договорил с вами! Даже ничего не сказал из того, что хотел. И некогда было. Я наслаждался. И это мое последнее пребы-

вание в Москве останется для меня одним из лучших воспоминаний. Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер. И какой милый Рубинштейн! Поблагодарите его еще раз за меня. Он мне очень понравился. Да и все эти жрецы высшего в мире искусства, заседавшие за пирогом, оставили во мне такое чистое и серьезное впечатление. А уж о том, что происходило для меня в круглой зале, я не могу вспомнить без содрогания. Кому из них можно послать мои сочинения, т. е. у кого нет их и кто их будет читать?

Вещи ваши не смотрел, некогда, примусь, буду, нужно ли вам или не нужно, писать свои суждения, потому что я любил ваш талант. Прощайте, дружески жму вашу руку.

Ваш *Лев Толстой*.

Про какой портрет мне говорил Рубинштейн? Ему я рад прислать, попросив его о том же, но для консерватории это что-то не то...»

На это письмо П. И. Чайковский отвечал Л. Н-чу так:

«Граф! Искренно благодарен вам за присылку песен. Я должен вам сказать откровенно, что они записаны рукой неумелой и носят на себе разве лишь одни следы своей первобытной красоты. Самый главный недостаток – это, что они втиснуты искусственно и насильственно в правильный, раз-

меренный ритм. Только плясовые русские песни имеют ритм с правильным и равномерным акцентированным тактом, а ведь былины с плясовой песнью ничего общего иметь не могут. Кроме того, большинство этих песен, и тоже, по-видимому, насильственно, записано в торжественном Д-дуре, что опять-таки не согласно со строем настоящей русской песни, почти всегда имеющей неопределенную тональность, ближе всего подходящую к древним церковным ладам. Вообще присланные мне вами песни не могут подлежать правильной и систематической обработке, т. е. из них нельзя сделать сборника, так как для этого необходимо, чтобы песня была записана, насколько возможно, согласно с тем, как ее исполняет народ. Это необычайно трудная вещь и требует самого тонкого музыкального чувства и большой музыкально-исторической эрудиции. Кроме Балакирева и отчасти Прокудина, я не знаю ни одного человека, сумевшего быть на высоте своей задачи. Но материалом для симфонической разработки ваши песни служить могут и даже очень хорошим материалом, которым я непременно воспользуюсь так или иначе.

Как я рад, что вечер в консерватории оставил в вас хорошее воспоминание. Наши квартетисты играли в этот вечер как никогда. Вы можете из этого вывести заключение, что пара ушей такого великого художника, как вы, способна воодушевить артиста во сто раз больше, чем десятки тысяч ушей публики.

Вы – один из тех писателей, которые заставляют любить

не только свои сочинения, но и самих себя. Видно было, что, играя так удивительно хорошо, они старались для очень любимого и дорогого человека. Что касается меня, то я не могу выразить, до чего я был счастлив и горд, что моя музыка могла вас тронуть и увлечь.

Я передам ваше поручение Рубинштейну, как только он приедет из Петербурга. Кроме Фитценгагена, не читающего по-русски, все остальные, участвующие в квартете, читали ваши сочинения. Я полагаю, что они вам будут очень благодарны, если вы пришлете каждому из них какое-нибудь сочинение.

Что касается до меня, то я бы просил вас подарить мне «Казачки», если не теперь, то в другой раз, когда вы опять побываете в Москве, чего я буду ожидать с величайшим нетерпением.

«Если вы будете посылать портрет Рубинштейну, то и меня не забудьте».

На этом прекратились навсегда отношения Л. Толстого и П. Чайковского.

«Странно сказать, – продолжает свой рассказ брат П. Ича, – но случилось это если не по инициативе, то вполне согласно с желанием самого Петра Ильича. Из конца вышеприведенного дневника внимательный читатель заметит, что сближение это привело к некоторого рода разочарованию со стороны последнего. Ему было неприятно, что «власти-

тель его дум», существо, умевшее поднимать из глубочайших недр его души самые чистые и пламенные восторги, говорит иногда «обыкновенные вещи, и притом недостойные гения». Не знать, не видеть этих будничных и мелких черт в образе, который он в воображении своем украсил всеми добродетелями и достоинствами, было отраднее. Петр Ильич слишком привык поклоняться своему кумиру издали, для того чтобы сохранить нетронутым свой культ, держа своего божка в руках и рассматривая как и из чего он сделан, какие имеет недостатки. Петру Ильичу было больно при ближайшем знакомстве потерять веру в него, разлюбить его творения, доставлявшие столько светлых и радостных минут высокого настроения. Он сам говорил мне, что, несмотря на всю гордость и счастье, которое он испытал при этом знакомстве, любимейшие произведения Толстого временно утратили для него свое очарование.

«Анна Каренина», которая вскоре после стала появляться в «Русском вестнике», сначала решительно не нравилась ему, и в сентябре 1877 г. он писал мне:

«После твоего отъезда я еще кое-что прочел из «Анны Карениной». Как тебе не стыдно восхищаться этой возмутительной пошлой дребеденью, прикрытой претензией на глубину психического анализа? Да черт его побери, этот психический анализ, когда в результате остается впечатление пустоты и ничтожества, точно будто присутствовал при разговоре Alexandrine Долгоруковой с Ник. Дм. Кондратьевым о

разных Китти, Алинах и Лили... Что интересного в этих барских тонкостях?»

Но само собою разумеется, стоило Петру Ильичу перечитать роман, когда он вышел целиком, чтобы эта бутада заставила его покраснеть, и «Анна Каренина» стала в его мнении наряду со всем великим, что Л. Н. Толстой написал до этого.

Говорил Петр Ильич также, что, кроме этого разочарования в личности, тяготило его еще и то, что, несмотря на простоту, ласковость и прелесть обращения Льва Николаевича, он смущал его. Из желания понравиться, угодить, из жадности и вместе с тем из страха выразить чувство поклонения и восторга, Петр Ильич сознавал, что становился «сам не собою» в присутствии своего собеседника, невольно то рисовался, то, наоборот, таил очень искренние порывы, боясь покоробить «сердцевода», показаться ему искусственным. Словом, Петр Ильич чувствовал, что все время играет какую-то роль, а это всегда было источником самых тяжелых ощущений для его правдивой натуры. Результатом всего этого было, что Петр Ильич стал «бояться» встреч со Львом Николаевичем и, вернув свое божество на подобающее ему место священной таинственности и неприступности, остался поклонником его до смерти».

Религиозным взглядам Л. Н-ча Чайковский не сочувствовал. Это может показаться странным, читая такое правдивое и серьезное выражение религиозных взглядов Чайковского,

которое мы находим в его письме из Кларана к Н. Ф. фон Мекк от 30 октября 1877 г.:

«Нужно вам сказать, что относительно религии натура моя раздвоилась, и я еще до сих пор не могу найти примирения. С одной стороны, мой разум упорно отказывается от признания истины догматической стороны как православия, так и всех других христианских исповеданий. Например, сколько я ни думал о догмате возмездия и награды, смотря по тому, хорош или дурен человек, я никогда не мог найти в этом веровании никакого смысла... Как провести резкую границу между овцами и козлищами? за что награждать, да и за что казнить? Столь же недоступна моему разумению и твердая вера в вечную жизнь. В этом отношении я совершенно пленен пантеистическим взглядом на будущую жизнь и на бессмертие...

С другой стороны, воспитание, привычка с детства, вложенные поэтические представления о всем, касающемся Христа и его учения, – все это заставляет меня невольно обращаться к нему с мольбою в горе и с благодарностью в счастье».

Но, вдумываясь в эти выражения, мы поймем, конечно, что именно эта некоторая близость, но нерешительность и вместе с тем искренность П. И-ча и не позволяли ему дать себя привести к вере авторитетным голосом Л. Н-ча. Он искал своего решения. Мы не знаем, нашел ли он его и с каким чувством перешел в иную жизнь.

1877 год начался опять беспокойно для Л. Н-ча вследствие продолжавшейся болезни Софьи Андреевны. У ней появились признаки какой-то серьезной внутренней болезни, и она решила поехать в Петербург для совета с Боткиным. К общей радости всей семьи Боткин не нашел ничего опасного, и графиня благополучно возвратилась домой.

13 апреля 1877 года была объявлена война Турции. На этот раз Л. Н-ч остался сторонним зрителем, с отрицательной критической оценкой событий, которые тем не менее сильно волновали его.

15 апреля гр. С. А. писала своей сестре:

«Левочка странно относился к сербской войне; он почему-то смотрел не так, как все, а со своей личной, отчасти религиозной точки зрения; теперь он говорит, что война настоящая и трогает его».

Мы знаем уже из эпилога «Анны Карениной» отрицательное отношение Л. Н-ча к добровольческому движению.

В ноябре 1876 года он пишет Фету:

«Ездил я в Москву узнавать про войну. Все это волнует меня очень. Хорошо тем, которым все это ясно, но мне странно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при которых совершается история, как дама какая-нибудь А-ва, со своим тщеславием и фальшивым сочувствием чему-то неопределенному, оказывается нужным винтиком во всей машине».

Через четыре месяца русско-турецкой войны, в августе,

Л. Н-ч писал Страхову:

«И в дурном, и в хорошем расположении духа мысль о войне застигает для меня все. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне становятся все яснее и яснее. Нынче Степа разговаривал с Сергеем о войне, и Сергей сказал: 1) что на войне хорошо молодым солдатам попользоваться насчет турчанок, и когда Степа сказал, что это нехорошо, он сказал: да что, ведь ей ничего не убудет. Черт с ней. – Это говорит тот Сергей, который сочувствовал сербам и которого приводят в доказательство народного сочувствия. А задушевная мысль о войне только турчанка, т. е. разнузданность животных инстинктов. 2) Когда Степа рассказал, что дела идут плохо, он сказал, что ж не возьмут Михаила Григорьевича Черняева (он знает имя и отчество), он бы их размайорил. Турчанка и слепое доверие к имени новому народному. Мне кажется, что мы находимся на краю большого переворота. Пишите мне, пожалуйста, о том, что делается и говорится в Петербурге».

В Тулу, как и в другие города, стали приходить пленные турки. Л. Н-ч ездил к пленным, помещавшимся на окраине Тулы, на бывшем сахарном заводе. Помещение и содержание их было сносно, но Л. Н-ча интересовало больше всего их душевное состояние, и он спросил, есть ли у них коран и кто мулла, и тогда они окружили его, завязалась беседа, и оказалось, что у всякого есть коран в сумочке. Л. Н-ча это

очень поразило.

Летом 1877 года Л. Н-ч совершил вместе с Н. Н. Страховым свое первое путешествие в Оптиную пустынь.

Они поехали по железной дороге до Калуги, оттуда на лошадях до Оптиной пустыни и остановились в гостинице. Утром они были очень удивлены посетителями, заставшими их еще в кроватях. Это были князь Оболенский, имение которого было по соседству, и Н. Г. Рубинштейн, гостивший в то время у Оболенского. Они пригласили Л. Н-ча посетить их на обратном пути, что Л. Н-ч и исполнил. Конечно, Л. Н-ч и Н. Н. Страхов посетили старца Амвросия. Но свидание это, несмотря на то что Л. Н-ч в это время был православный, не удовлетворило ни того, ни другого. Со старцем у Л. Н-ча вышли пререкания по поводу одного евангельского текста, а Н. Н. Страхова о. Амвросий, слышавший, что Страхов – писатель-философ, стал разубеждать насчет материализма, в чем Н. Н. совсем не был грешен.

Затем Л. Н-ч посетил архимандрита Ювеналия, бывшего гвардейского офицера Половцева; он вспомнил, что на этом свидании произошел комичный эпизод во время обычных в таких случаях разговоров: в присутствии светских гостей отец Пимен, один из старцев пустыни, присутствовавший на этом приеме, преспокойно, сидя на стуле, уснул. Сознывая пустоту разговора, Л. Н-ч позавидовал о. Пимену, избравшему «благую часть». Впоследствии Л. Н-ч не раз вспоминал это обличительное равнодушие о. Пимена и приводил его в

пример кроткого обличения мирской суеты.

Наиболее чистое, приятное впечатление оставил во Л. Н-ча секретарь-келейник о. Амвросия, о. Климент, в миру Зедерхольм, умный, образованный и искренно религиозный человек.

На обратном пути Л. Н-ч вместе со Страховым посетил князя Оболенского в его имении Березино, где наслаждался прекрасной игрой Н. Г. Рубинштейна.

На другой день он тем же путем возвратился через Калугу и Тулу в Ясную Поляну.

Интересным фактом этого времени было появление в доме Л. Н-ча известного рассказчика былин, архангельского крестьянина Щегленкова, привеченного Львом Николаевичем из Москвы от профессора Тихонравова.

Л. Н-ч очень увлекался его старинным поэтическим народным языком и, кроме того, записал с его слов несколько старинных легенд, которые потом послужили для него темой, переработанной им в народных рассказах. Таковы были легенды о сапожнике Михаиле – «Чем люди живы», о трех старцах, спасавшихся на острове, и др.

Приведем теперь несколько сведений об образе жизни самого Л. Н-ча, несколько черт его характера, которые дополняют общее очертание его фигуры.

В воспоминаниях С. Берса о Льве Николаевиче находится много сведений о личной и семейной жизни Л. Н-ча. Мы

берем только наиболее характерные.

Вот что говорит, между прочим, С. Берс о распределении времени дня Л. Н-ча и о его отношениях к домашним:

«Утром он приходил одеваться в свой кабинет, где я спал постоянно под гравированным портретом известного философа Шопенгауэра. Перед кофе мы шли вдвоем на прогулку или ездили верхом купаться. Утренний кофе в Ясной Поляне – едва ли не самый веселый период дня. Тогда собирались все. Оживленный разговор с шуточками Льва Николаевича и планами на предстоящий день длился довольно долго, пока он не встанет со словами «надо работать», и уходит в особую комнату со стаканом крепкого чая.

Никто не должен был входить к нему во время занятий. Даже жена никогда не делала этого. Одно время такую привилегию пользовалась старшая дочь его, когда была еще ребенком.

Откровенно говоря, я был всегда рад тем дням, когда он не работал, потому что весь день находился в его обществе.

Нельзя передать с достаточной полнотой того веселого и привлекательного настроения, которое постоянно царило в Ясной Поляне. Источником его был всегда Лев Николаевич. В разговоре об отвлеченных вопросах, о воспитании детей, о внешних событиях его суждение было всегда самое интересное. В игре в крокет, в прогулке он оживлял всех своим юмором и участием, искренно интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самого простого дей-

ствия, которым бы Л. Н-ч не сумел придать интереса и вызвать к ним хорошего и веселого отношения в окружающих.

Дети дорожили его обществом, наперерыв желали играть с ним в одной партии, радовались, когда он затеет для них какое-нибудь упражнение. Подчиняясь его влиянию и настроению, они без затруднения совершали с ним длинные прогулки, напр., пешком в Тулу, что составляет около 15 верст.

Мальчики с восторгом ездили ним на охоту с борзыми собаками. Все дети спешили на его зов, чтобы с ним делать шведскую гимнастику, бегать, прыгать, что сам он делал опять же искренно и весело, а потому и все делали так же. Зимой все катались на коньках, но с большим еще удовольствием расчищали каток от снега, потому что эта инициатива принадлежала Льву Николаевичу. Со мной он косил, вел, делал гимнастику, бегал вперегонки и изредка играл в чехарду, городки и т. д. Далеко уступая его большей физической силе, так как он поднимал до пяти пудов одной рукой, я легко мог состязаться с ним в быстроте бега, но редко обгонял его, потому что я всегда в это время смеялся. Это настроение всегда сопровождало наши упражнения. Когда нам случалось проходить там, где косили, он непременно подойдет и попросит косу у того, кто казался наиболее усталым. Я, конечно, следовал его примеру. При этом он всегда предлагал мне вопрос, отчего же мы, несмотря на хорошо развитую мускулатуру, не можем косить целую неделю подряд, а крестьянин при этом и спит на сырой земле, и питается одним

хлебом. «Попробуй-ка ты так», – заключал он свой вопрос. Уходя с луга, он вытащит из копны клочок сена и, восхищаясь запахом, нюхает его.

Лев Николаевич всегда любил музыку. Он играл только на рояле и преимущественно из серьезной музыки. Он часто садился за рояль перед тем как работать, вероятно, для вдохновения. Кроме того, он всегда аккомпанировал моей младшей сестре и очень любил ее пение. Я замечал, что ощущения, вызываемые в нем музыкой, сопровождались легкой бледностью лица и едва заметной гримасой, выражавшей нечто похожее на ужас. Почти не проходило дня летом без пения сестры и игры на рояле. Изредка пели все хором, и всегда аккомпанировал он же».

«Я видел графа Л. Н-ча Толстого, – говорит кн. Д. Д. Оболенский в своих воспоминаниях, – во всех фазисах его деятельности, творчества и никогда не прощу себе, что не записывал бесед с ним и бесед, бывших в моем присутствии. Много поучительного вынес я. Чем бы ни увлекался Лев Николаевич, все делал он с убеждением, твердо веруя в то, что делает, а увлекался он всегда вовсю. Я помню гр. Л. Н-ча светским человеком, видал его на балах, и помню как-то его замечание: «Посмотрите, сколько поэзии в бальном туалете женщины, сколько изящества, сколько мысли, сколько прелести хотя бы в приколотых к платью цветах». Я помню его страстным охотником, пчеловодом и садоводом, помню его увлечение сельским хозяйством, сажающего леса и плодовые

сады, занятого коневодством и многим другим».

К семейной жизни, конечно, относится и воспитание детей. Но в этой области мы ничего не можем отметить выдающегося. Конечно, педагогические принципы Л. Н-ча не остались без влияния на первый детский период воспитания в смысле свободы, отсутствия наказаний, физических упражнений и т. д. Сам Лев Николаевич принимал участие в обучении своих детей, преподавая им арифметику, устраивая французские чтения по вечерам иллюстрированных романов Жюль Верна.

Но с увеличением числа детей, с осложнением семейной жизни постепенно воспитание и обучение сбивалось на обычные протоптанные дорожки, и влияние Л. Н-ча ослабевало. Гувернеры, гувернантки, французы, немцы, англичанки, потом гимназии, лицеи и все остальные атрибуты школьного и домашнего обучения достаточных классов. Отсутствие в этом дальнейшем воспитании влияния Л. Н-ча можно объяснить себе несколькими соображениями. Во-первых, поглощенный литературной работой, он никогда не мог поставить дело воспитания детей на первое место. Во-вторых, как раз к этому времени, т. е. ко времени подрастания старших детей до школьного возраста, во Л. Н-че стали возникать новые вопросы и сомнения о правильности своего взгляда на мир, которые не могли не отдалить его от решения текущих практических вопросов. В-третьих, наконец, быть может, несогласие в этом важном деле между мужем

и женой, столь пагубно действующее на молодое поколение, заставило уступить одну сторону, чтобы дать возможность применить в известном порядке взгляды другой стороны.

Читатель поймет то деликатное положение, какое мы занимаем, рассказывая факты из личной и семейной жизни еще, к счастью, благополучно живущих супругов, и простит нас, что мы не входим в большие подробности их внутренней жизни. Подробное изображение этого есть дело будущего.

Чтобы покончить с этими чертами личного характера Л. Н-ча, укажем на те литературные произведения, которые из многого прочитанного Л. Н-чем за этот период 60-х и 70-х годов произвели на него наиболее сильное впечатление:

Название литературного произведения: Степень влияния:

Одиссея и Илиада по-гречески. Очень большое.

Былины. Очень большое.

Ксенофонта «Анабазис». Очень большое.

Виктор Гюго. «Miserables» Огромное.

Miss Wood. Романы Большое.

Заметим, что усиленное чтение древнехристианских подлинников в конце 70-х годов мы относим к следующему периоду его религиозного кризиса.

Кончая «Анну Каренину», Л. Н-ч часто в письмах и разговорах со своими друзьями жаловался на то, что он, так ска-

зять, уже пережил свою прежнюю работу, что она тяготит его и ему хочется поскорее развязаться с ней, «опростаться» для новой работы, все более и более захватывавшей его душевные интересы.

В январе 1876 года Софья Андреевна писала сестре своей.

«Левочка собирается писать что-то историческое из времен Ник. Павл. и теперь читает много материалов».

Его записная книжка за 1877 год вся заполнена различными заметками под общим заглавием «К следующему после «А. Кар.»

Заметки впечатлений картин природы, разных работ на деревне и в поле, черты характеров будущих героев, – все эти прелестные мимолетные наброски заставляют нас искренно пожалеть о не увидевшем свет произведения, которое должно было быть полно всяческими красотоми. Интерес Льва Николаевича к эпохе царствования Николая Павловича снова вскоре сосредоточился на декабристах, и он скоро снова взялся за этот роман и написал два последние варианта первой главы, которые помещены в полном собрании его сочинений.

В это время Л. Н-ч снова углубился в чтение исторических материалов того времени, знакомился с людьми, помнящими то время, беседовал с участниками декабрьского дела.

В письме своем к Софье Андреевне из Петербурга в марте 1878 г. Л. Н-ч пишет:

«...Нынче был у двух декабристов, обедал в клубе, а вечер был у Бибикова, где Софья Никитична (урожд. Муравьева) мне пропасть рассказывала и показывала... Потом поехал к Свистунову, у которого умерла дочь, и просидел у него 4 часа, слушая прелестные рассказы его и другого декабриста, Беляева.

...Потом поехал к нотариусу, в библиотеку, к Страхову и в крепость».

Л. Н-ч получил разрешение на осмотр Петропавловской крепости, видеть которую ему нужно было для верного описания жизни заключенных в ней декабристов.

Разрабатывая материалы николаевской эпохи, Л. Н-ч наткнулся на видную фигуру графа В. А. Перовского, бывшего в царствование Николая Павловича оренбургским генерал-губернатором и пользовавшегося полным доверием царя.

Л. Н-ч обратился за сведениями об этом человеке к своей тетке и другу, гр. А. А. Толстой, бывшей в переписке с Перовским и хорошо знавшей его.

В первом письме Л. Н-ч пишет:

«У меня давно бродит в голове план сочинения, местом которого должен быть Оренбургский край и время Перовского. Теперь я привез из Москвы целую кучу материалов для этого. Все, что касается В. А. Перовского, мне ужасно интересно, и должен вам сказать, что это лицо как историческое лицо и характер мне очень симпатично. Что бы ска-

зали вы и его родные? дадите ли вы и его родные мне бумаг и писем, с уверенностью, что никто, кроме меня, их читать не будет?..»

Графиня А. А. поспешила ответить Л. Н-чу в желаемом для него смысле и в январе получила от него письмо, в котором он, между прочим, писал:

«Очень, очень вам благодарен за ваше обещание дать мне все сведения о Перовском... Личность его вы совершенно верно определяете а *grand traits*, таким и я его представляю себе, и такая фигура – одна, напоминающая картину. Биография его была бы груба, но с другими, противоположными ему, тонкими, мелкой работы, нежными характерами, как, например, Жуковский, которого вы, кажется, хорошо знали, а главное, – с декабристами. Эта крупная фигура, составляющая тень (отенок) к Николаю Павловичу, самой крупной и а *grand traits* фигуры, выражает вполне то время... Я теперь весь погружен в чтение из времени двадцатых годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, – тридцатые годы, – уже история... так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается, и все останавливается в торжественном покое истины и красоты.

Молюсь богу, чтобы он позволил мне сделать, хоть приблизительно, то, что я хочу. Дело это для меня так важно, что, как вы ни способны понимать все, вы не можете пред-

ставить, до какой степени это важно: так важно, как важна для вас ваша вера, и еще важней, мне бы хотелось сказать, но важнее ничего не может быть. И оно – то самое и есть».

Вероятно, многие, из друзей Л. Н-ча, в том числе и Фет, задавали себе, а может быть, и ему, вопрос: каким образом Л. Н-ч, всегда относившийся отрицательно к насильственной революционной деятельности, мог увлекаться декабристами, и каким образом будет он со своей точки зрения трактовать этот сюжет, к которому он относился с несомненной любовью? В одном из писем к Фету Л. Н-ч отвечает на эти вопросы. Хотя письмо это написано тогда, когда Л. Н-ч уже оставил свой план, но оно живо передает его отношение к этому историческому событию.

Вот что он, между прочим, пишет Фету в апреле 1879 года:

«Декабристы мои бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал, и писал, то льщу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества».

Причин тому, что роман этот не был написан, несколько. Упомянем главные, известные нам. Одной из внешних причин было то, что Л. Н-чу не удалось добыть всех нужных ему сведений из государственных архивов, к которым его не допустили. Другой причиной было то, что, углубляясь в изучение этого декабристского движения, несмотря на всю его увлекательность, Л. Н-ч пришел к заключению, что оно

не вполне народное, русское, и это отчасти охладило его к нему. Наконец, третьей и главной причиной, по нашему мнению, было общее охлаждение Л. Н-ча к литературно-художественной работе вследствие начавшегося у него в то время религиозного кризиса.

Глава 13. Примирение Тургенева с Толстым

Закончим эти главы важным эпизодом, послужившим переходом самого Л. Н-ча в новую эпоху смирения, мягкости и терпимости ко всем людям, чего прежде ему часто недоставало.

Внутренняя работа над самим собою, над уяснением важнейших вопросов о смысле человеческой жизни, религиозное настроение, порою охватывавшее его, хотя еще и под видом старой, православной формы, – все это, как всегда, стояло для Л. Н-ча в связи с самосовершенствованием, с очищением души своей от всякой приставшей к ней душевной грязи.

Холодные, почти враждебные отношения, которые, несмотря на обмен примирительными письмами, существовали между Тургеневым и Львом Николаевичем, давно тяготили его. И более искреннее примирение с ним было одним из первых дел его души, жаждавшей обновления. Весной 1878 г. Л. Н-ч написал Тургеневу в Париж письмо, в котором просил его забыть, если было что-либо враждебное в их отношениях, вспомнить только их хорошие отношения, которые существовали между ними во время вступления Л. Н-ча на литературное поприще, когда Л. Н-ч любил его искренно.

Л. Н-ч писал ему:

«Простите меня, если в чем я был виновен перед вами».

Тургенев ответил таким же душевным письмом. Вот оно:

«Любезный Лев Николаевич, я только сегодня получил ваше письмо, которое вы отправили *poste-restante*, оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к вам: если они и были, то давным-давно исчезли, — осталось одно воспоминание о вас, как о человеке, к которому я был искренно привязан, и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне новейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений.

Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию, — тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю всего хорошего — и еще раз дружески жму вам руку».

Слух об этом примирении распространился между друзьями Л. Н-ча. Первый на него откликнулся Фет, отношения которого с Тургеневым тоже были натянуты. И он поспешил последовать за Л. Н-чем. Вот как он рассказывал об этом в своих воспоминаниях:

«В июне, к величайшей моей радости, к нам приехал погостить Н. Н. Страхов, захвативший Толстых еще до отъезда их в Самарскую губ. Конечно, с нашей стороны подня-

лись расспросы о дорогом для нас семействе, и я, к немалому изумлению, услышал, что Толстой помирился с Тургеневым.

– Как, по какому поводу? – спросил я.

– Просто по своему теперешнему религиозному настроению он признает, что смиряющийся человек не должен иметь врагов, и в этом смысле написал Тургеневу.

Событие это не только изумило меня, но и заставило обернуться на самого себя. Между Толстым и Тургеневым, подумал я, была хоть формальная причина разрыва, но у нас с Тургеневым и этого не было. Его невежливые выходки всегда казались мне более забавными, чем оскорбительными, хотя я не решился бы отнести к ним так же, как покойный Кетчер, который в подобном случае расхохотался бы своим громовым хохотом и сказал бы дурака. Смешно же людям, интересующимся, в сущности, друг другом, расходиться только на том основании, что один – западник без всякой подкладки, а другой – такой же западник, только на русской подкладке из ярославской овчины, которую при наших морозах покидать жутко. Все эти соображения я написал Тургеневу».

В августе Тургенев пишет Льву Н-чу уже из Москвы:

«Любезнейший Л. Н-ч, я приехал сюда вчера, выезжаю в воскресенье вечером и понедельник пробуду в Туле, где у меня есть дела. Мне самому хочется вас видеть, и к тому же у меня есть поручение до вас, – то как хотите: приедете ли вы в Тулу, или я заеду к вам в Ясную Поляну, откуда отправлюсь далее. Я не знаю, какая есть в Туле гостиница (я приеду

в ночь с воскресенья на понедельник и займу номер), но вы можете прислать записку или телеграмму либо на станцию, либо на дом нашего общего знакомого, губернского предводителя Самарина, я так и распоряжусь».

Л. Н-ч только что вернулся со всей семьей своей из самарского имения. Через несколько дней была получена телеграмма о том, что Тургенев будет у Толстых. 3 августа Л. Н-ч выехал встречать его в Тулу в сопровождении своего шурина, С. А. Берса. Мы заимствуем описание этого свидания отчасти из его воспоминаний, отчасти из записок С. А. Толстой, пополняя сведениями из других источников.

«Тургенев очень сед, – пишет Соф. Андр., – очень смирен, всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе возвышенных предметов. Так, он описывал статую Христа Антокольского, точно мы все видели его, а потом рассказывал о своей любимой собаке Жаке с одинаковым мастерством. В Тургеневе теперь стала видна слабость, даже детски наивная слабость характера. Вместе с тем видна мягкость и доброта. Вся ссора его со Л. Н-чем мне объяснилась этой слабостью. Например, он наивно сознается, что боится страшно холеры. Потом нас было 13 за столом, мы шутили о том, на кого падет жребий смерти и кто ее боится. Тургенев, смеясь, поднял руку и говорит: «*que celui, qui craint la mort, leve la main*». Никто не поднял, и только из учтивости Л. Н-ч поднял и сказал: «*eh bien, moi aussi, je ne veux pas mourir*».

С. А. Берс прибавляет:

«За обедом Ив. Серг. много рассказывал и мимически копировал не только людей, но и предметы с необыкновенным искусством; так, напр., он действиями изображал курицу в супе, подсовывая одну руку под другую, потом представлял охотничью собаку в раздумье и т. д.»

«Тургенев пробыл у нас два дня, – продолжает графиня С. А. – О прошлом речи не было, были отвлеченные споры и разговоры, и на мой взгляд Л. Н. держал себя слегка почтительно и очень любезно, не переходя никакие границы. Тургенев, уезжая, сказал мне: «До свиданья, мне было очень приятно у вас». Он сдержал слово «до свиданья» и опять приехал в начале сентября».

Вот как описывает пребывание Тургенева в Ясной Поляне г-жа Е. М., одна из немногих посторонних свидетельниц этого свидания:

«В 1878 году я видела в последний раз Тургенева в Ясной Поляне, у гр. Льва Николаевича Толстого; они лет 16 не видели друг друга по случаю какого-то недоразумения. Лев Николаевич сделал первый шаг к сближению, и Тургенев поспешил ответить на него: они съехались в Туле и поехали вместе в Ясную Поляну, имение гр. Толстого, верст 12 от Тулы. Тургенев провел там два дня. Большую часть времени они проводили в философских и религиозных разговорах в кабинете Льва Николаевича: любопытно было бы послушать рассуждения этих двух самых замечательных наших писате-

лей, но тайна их прений не проникла за дверь кабинета; когда они приходили в гостиную, разговор делался общим и принимал другой оборот. Тургенев с удовольствием рассказывал про только что купленную им виллу Буживаль около Парижа, про ее удобства и устройство, говоря: мы выстроили прелестную оранжерею, которая стоила десять тысяч франков, мы отделали то-то и то-то, разумея под словом «мы» семейство Виардо и самого себя.

– Мы по вечерам часто в винт играем, а вы? – спросил он Льва Николаевича.

– Нет, мы никогда не играем в карты, – отвечал граф, – и жизнь наша совершенно иная, чем за границей. Это такая резкая противоположность, что вам должно быть все очень странным казаться, когда вы приезжаете в Россию и находитесь в совершенно другой обстановке?

– Первые дни точно меня все поражает и кажется странным, – отвечал Иван Сергеевич, – но эти впечатления скоро изглаживаются, и я привыкаю ко всему, ведь это все свое родное, я вырос, провел детство и часть молодости в этой обстановке.

Зная, что он любит шахматы, гр. Толстая предложила ему вечером сыграть партию с ее старшим сыном, пятнадцатилетним мальчиком, говоря: он будет всю жизнь помнить, что играл с Тургеневым.

Иван Сергеевич снисходительно согласился и начал партию, продолжая разговаривать с нами.

– Я в Париже часто играл и считался хорошим игроком: меня называли *le chevalier du fou* – это был мой любимый ход. А знаете ли вы новое слово в ходу у французов – «*vieux jeu!*» Что ни скажешь, француз отвечает: «*vieux jeu!*» Э, да с вами шутить нельзя! – воскликнул он, обращаясь к своему молодому партнеру. – Вы чуть-чуть не погубили меня.

И он стал со вниманием играть и с трудом выиграл партию, потому что молодой Толстой тоже прекрасно играл в шахматы.

– Отчего вы не курите? – опросил Лев Николаевич. – Вы прежде курили.

– Да, – отвечал Тургенев, – но в Париже есть две хорошенькие барышни, которые мне объявили, что если от меня будет пахнуть табаком, они мне не позволят их целовать, и я бросил курить.

За вечерним чаем Иван Сергеевич рассказывал, как он в Баден-Бадене играл лешего в домашнем спектакле у *m-me Виардо*, и как некоторые из зрителей смотрели на него с недоумением. Мы знали, что он сам написал пьесу, вроде оперетки, для этого спектакля, знали, что русские за границей, да и в России, были недовольны, что он исполнял шутовскую роль для забавы *m-me Виардо*, и нам всем сделалось неловко. В своем рассказе он точно старался оправдаться, но он скоро перешел к другой теме, и мы успокоились.

Он имел дар слова и говорил охотно, плавно, любил, кажется, больше рассказывать, чем разговаривать. Он расска-

зывал нам, как сидел в 1852 г. на гауптвахте в Спасской части, в Петербурге, за статью о смерти Гоголя: «Ужасно скучно было, ко мне никого не пускали, да и в то время город был пуст, друзей моих никого не было. Мне позволили было раз в день прогуливаться по тесному двору, но и там меня сторожил угрюмый унтер-офицер; я было пробовал заискать в нем, подходил с улыбкой – ну, ничего не берет, – ни ответа, ни привета. Это был старый, рослый, широкоплечий солдатина, лицо суровое, неподвижное, – видно было, что ни лаской, ни деньгами ничего не добьешься и подкупить совершенно невозможно».

Гр. Толстой тоже рассказывал, и его рассказы мне больше нравились: они были сильнее очерчены, часто юмористичны, всегда оригинальны, в них было много простоты, неожиданности и задушевности. На него Запад не имел никакого влияния, он чисто русский человек, образованный и осмысленный. И. С. Аксаков сказал про него, что у него «медвежий талант» по исполинской силе, а я прибавлю, что душа его кроткая, как «голубица,» восторженная, как у юноши, и соединение этих двух качеств объясняет его новое направление, которое так огорчает Тургенева.

В одиннадцать часов Иван Сергеевич встал.

– Пора мне на железную дорогу, – сказал он.

Мы все поднялись. Станция железной дороги была за две версты, гр. Лев Николаевич провожал Ивана Сергеевича. Мне надо было ехать в Тулу. Мы выехали вместе. Ив. Серге-

евич и гр. Толстой ехали впереди, я с дочерью моею в другом экипаже за ними.

На большой дороге мы простились с нашими спутниками и повернули налево к городу. Ночь была теплая, тихая, звездная, вдали слышался звук удаляющегося колокольчика, золотой рог месяца поднимался из-за рощи.

– Какой прелестный день мы провели! – сказала я дочери.

– Да, прелестный, – отвечала она.

И обе мы тогда не подозревали, что в последний раз видели Тургенева».

Одним из поручений ко Л. Н-чу, о котором ему писал Тургенев, была просьба А. Н. Пыпина, издававшего тогда «Русскую библиотеку», т. е. сборники, посвященные выдающимся русским писателям и составленные из краткой биографии писателя и лучших образцов его произведений.

Поручение это Тургеневу удалось исполнить вполне удачно, о чем он сообщил А. Н. Пыпину в следующем письме:

«Любезнейший Александр Николаевич! Я заезжал к гр. Л. Н. Толстому, в его имение около Тулы, и говорил с ним о «Русской библиотеке». Он изъявил полное согласие на помещение его сочинения, предоставляет выбор редакции «Вестника Европы», – пришлет краткий биографический очерк. Принимает те условия денежные, на которых состоялось издание мое, салтыковское и т. д. Что касается до портрета, то предлагает снести с живописцем Крамским, который живет в Петербурге и который написал два превосходных порт-

рета Толстого. Можно бы с одного из них снять фотографию. Словом, Толстой показал самую предупредительную готовность. Я ему сказал, что вы спишетесь с ним, что вы и сделаете. Что же касается до большого его романа, то, по его словам, он даже не начат, но во всяком случае в «Русском вестнике» не явится, так как Толстой уже не желает более иметь дела с этим журналом».

Возвратившись в Спасское, Тургенев писал Толстому:

«Любезнейший Лев Николаевич! Я благополучно прибыл сюда в прошлый четверг и не могу не повторить вам еще раз, какое приятное и хорошее впечатление оставило во мне мое посещение Ясной Поляны, и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто их никогда и не было. Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла и для нас не даром, и что и вы, и я – мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад, и мне было приятно это почувствовать.

Нечего и говорить, что на возвратном пути я снова всене-пременно заверну к вам».

Через несколько дней Тургенев снова пишет Л. Н-чу, отвечая на его письмо и извещая о своем обратном проезде в Москву и о намерении посетить снова Л. Н-ча.:

«Итак, 1 сентября я к обеду у вас... если только вы в тот день не отозваны куда-нибудь на охоту. (Я сегодня своими глазами видел жеребенка, пораненного волком прошлую ночью. Их у нас много по лесам, да никто не едет травить их).

Мне очень приятно узнать, что все в Ясной Поляне взглянули на меня дружелюбным оком. А что между нами существует та связь, о которой вы говорите, это несомненно, и я очень этому радуюсь, хоть и не берусь разобрать все нити, из которых она составлена. Одной художественной – мало. Главное то, что она есть. Фет-Шеншин написал мне очень милое, хоть и не совсем ясное письмо, с цитатами из Канта; я немедленно отвечал ему. Вот, стало быть, я и недаром приехал в Россию, хотя, собственно, то, что я и имел в виду, окончилось, как и следовало ожидать, *fiasco*'м.

Итак, до скорого свидания, поклонитесь всем вашим. Крепко жму вам руку».

Несмотря на этот дружеский обмен писем, на сердечность отношений с обеих сторон, несмотря на искреннее желание также с обеих сторон сблизиться, – этого полного сближения все-таки не произошло.

После второго свидания, в сентябре того же года, Л. Н-ч писал Фету:

«Тургенев на обратном пути был у нас и радовался получению от вас письма. Он все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна».

Менее чуткий к душевным отношениям, Тургенев продолжал писать Л. Н-чу, стараясь в чем-то убедить его:

«Радуюсь тому, что вы все физически здоровы, и надеюсь, что и умственная ваша хворь, о которой вы пишете, прошла. Мне и она была знакома: иногда она являлась в виде

внутреннего брожения перед началом дела; полагаю, что такого рода брожение совершалось и в вас. Хоть вы и просите не говорить о ваших писаниях, однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось «даже немножко» смеяться над вами; иные ваши вещи мне нравились очень, другие очень не нравились, иные, как, напр., «Казачи», доставляли мне большое удовольствие и возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смех? Я полагал, что вы от подобных «возвратных» ощущений давно отделались. Отчего они знакомы только литераторам, а не музыкантам, живописцам и прочим художникам? Вероятно, оттого, что в литературное произведение все-таки входит больше той части души, которую не совсем удобно показывать. Да, но в наши уже немолодые сочинительские годы пора к этому привыкнуть».

Это письмо вызвало еще более резкое суждение Л. Н-ча, которое он и сообщил Фету, в письме от 22 ноября того же года:

«Вчера получил от Тургенева письмо. И знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный».

Но сам Тургенев не замечал этих задираний и писал после этого Фету в том же восторженном тоне:

«Мне было очень весело снова сойтись с Толстым, и я у него провел три приятных дня; все семейство его очень симпатично, а жена его – прелесть. Он сам очень утих и вырос. Его имя начинает приобретать европейскую извест-

ность. Нам, русским, давно известно, что у него соперника нет».

Но, несмотря на сознание невозможности полного сближения, Л. Н-ч старается и ищет случая выразить сочувствие Тургеневу, чтобы смягчить эти отношения и отдалить опасность нового разрыва. Поводом к такому сочувствию явился какой-то пасквиль «Московских ведомостей» по адресу Тургенева.

На это выражение сочувствия Тургенев, как будто почувствовавший некоторое напряжение связующих их душевных нитей, ответил длинным, благодарным письмом, в котором старается показать, как он, со своей стороны, ценит произведения Л. Н-ча и старается о их распространении в Европе.

28 декабря 1879 года он пишет:

«Через неделю с небольшим я выезжаю отсюда и наверно знаю, что мы скоро увидимся, хотя еще не знаю, где именно. Меня очень тронуло сочувствие, выраженное вами по поводу статьи в «Московских ведомостях», и я, со своей стороны, почти готов радоваться ее появлению, так как она побудила вас сказать мне такие хорошие, дружелюбные слова. Когда я отошел от «Русского вестника», Катков велел меня предупредить, что я, дескать, не знаю, что значит иметь его врагом; вот он и старается мне доказать. Пускай его, моя душа не в его власти.

Княгиня Паскевич, переведшая вашу «Войну и мир», доставила, наконец, сюда 500 экземпляров, из которых я полу-

чил 10. Я роздал их здешним влиятельным критикам (между прочим, Тэну, Абу и др.). Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту вашей эпопеи. Перевод несколько слабват, но сделан с усердием и любовью. Я на днях в 5 и 6 раз с новым наслаждением перечел это ваше поистине великое произведение. Весь его склад далек от того, что французы любят и чего они ищут в книгах, но правда, в конце концов, берет свое. Я надеюсь если не на блестящую победу, то на прочное, хотя медленное завоевание.

Вы ничего мне не говорите о новой вашей работе, а между тем ходят слухи, что вы прилежно трудитесь. Воображаю вас за письменным столом в той уединенной избе, которую вы мне показывали. Впрочем, обо всем этом я скоро буду иметь известие из первых рук. Радуюсь вашему домашнему благополучию и прошу передать всем вашим мой усердный привет и поклон. Точно тяжелые и темные времена переживает теперь Россия, но именно теперь и совестно жить чужаком. Это чувство во мне все становится сильнее и сильнее, и я в первый раз еду на родину, не размышляя вовсе о том, когда я сюда вернусь, да и не желая скоро вернуться.

Крепко жму вашу руку, благодарю вас за то, что вы приблизились ко мне и знаю, что я плачу вам тем же. Будьте здоровы и до свиданья».

Рассказ об отношениях двух великих писателей привел нас к 1879 году, – году «Исповеди», которой и разрешился душевный кризис Л. Н-ча Толстого.

Описанию всех тяжелых и радостных перипетий его и будет посвящена 4-ая часть второго тома биографии.

Часть IV. Критический период

Глава 14. Кризис

Мы сказали в одной из предыдущих глав, что 1876 год мы считаем началом кризиса и что конец 70-х годов представляет самый острый период его, завершившийся просветлением.

Конечно, можно считать 1876 г. началом кризиса только в узком, эпизодическом смысле. Можно сказать и иначе. Кризис начался со дня его сознательной жизни: но то и другое будет верно. Рассмотрим оба эти утверждения. В одном из своих автобиографических произведений Лев Николаевич сам заявляет, что собственно кризиса, перелома в его жизни и не было, что он всегда стремился к отысканию смысла жизни, и только сложные внешние явления и события и его собственные страсти и увлечения отодвигали это решение вопросов жизни и сконцентрировали таившиеся силы в один могущественный внутренний порыв, который и опрокинул ветхое здание.

В этом смысле и можно принять эти два объяснения: 1-ое, что Л. Н-ч был всегда таким, каков он есть, и 2-ое, что в конце 70-х годов с ним произошел душевный переворот, круто изменивший его жизнь. Мы рассмотрим хронологиче-

ски первое утверждение и остановимся с большим вниманием на этом поворотном пункте.

Ранее мы уже старались приводить все те места из его художественных произведений, статей, писем и дневника, в которых выражается его внутренняя жизнь.

Мы намерены теперь сделать беглый обзор этих проявлений внутренней жизни, чтобы, имея, таким образом, в своем распоряжении важнейшие координаты, быть в состоянии построить кривую его духовного развития.

В период бессознательного и полусознательного детства Л. Н-ча мы видим только некоторую повышенную чувствительность, нервность, неровность характера, часто эксцентричность – первые признаки, выделявшие его из среды, его окружавшей. В отрочество его уже появляются первые черты его нравственной душевной физиономии. У него уже появляются первые стремления к идеалу, первые страстные, восторженные влечения к нему. Эти идеалы различны и часто меняются, потому что ни один не удовлетворяет пылкую душу ребенка. Этим идеалом становится то его старший брат Сергей, то он благоговеет перед братом Николаем, то мечтает о каком-то смутном «счастье» вообще, то старается графически выразить идею бессмертия, та мысли его принимают скептическое направление, – он сомневается в реальности внешнего мира и ищет сущность, пустоту, небытие. И к концу отрочества эти идеалы уже начинают очерчиваться более определенно и выражаются в искании пути к добродетели.

тели, к моральному, общему благу.

С такими недетскими стремлениями он переходит в юность, и сложный мыслительный процесс уже вступает в свои права и оказывает поддержку его идеальным стремлениям. Он начинает философствовать.

Сам Л. Н-ч уже может разобраться, классифицировать свои душевные порывы; герой его повести «Юность», отражающий на себе душевный мир Л. Н-ча, говорит, что в это время общий характер его стремлений – было стремление к нравственному совершенствованию. Но рядом с этим шли более частные стремления: «любовь к ней», «любовь любви», жажда славы и, как реакция его, раскаяние, самоуничтожение, эти два последние противоречивые чувства, тщеславие и смирение, часто переходили друг в друга.

«Раскаяние, – говорит он, – было до такой степени слито с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и развивались радужные цвета будущего».

В 18 лет он начинает писать дневник. В нем видна уже внутренняя работа над самим собою. Он пишет себе правила жизни, распределяет занятия, задается самыми широкими и благими целями. Значение, которое он уже тогда придавал своему внутреннему, душевному миру, видно из следующе-

го выражения дневника:

«Перемена в образе жизни должна произойти, но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души».

С такими мыслями Л. Н-ч выходит из университета, едет в Ясную Поляну и вступает в самостоятельную жизнь.

Взглянем теперь на те источники, которые питали душу Толстого в эти юные годы.

Уже в первые дни своей жизни он испытал на себе могучее чувство материнской любви. В воспоминаниях о своей матери Л. Н-ч говорит: «четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая ей любовь к Коко, во время моего рождения уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки».

С полуторагодовалого возраста он остается на руках своей тетушки Татьяны Александровны Ергольской.

«Тетенька Татьяна Александровна, – говорит Л. Н-ч в воспоминаниях о ней, – имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью».

В детстве он испытал еще одно доброе влияние немца-губернера Федора Ивановича Ресселя. По верному выражению его в «Детстве», видно, что влияние это было хорошее;

несчастливая, одинокая, сиротская жизнь этого человека зародила в нем чувство сострадания к людям. Влияние отца, постоянно занятого разными делами, не могло быть очень сильно, но мы видим по нескольким характерным черточкам его воспоминаний, что авторитет отца был силен в семье, и влияние его было доброе.

Когда отец похвалил его за прочтенное стихотворение Л. Н-ч говорит:

«Я понял, что он что-то хорошее видит в моем чтении, и был очень счастлив этим».

Рассказывая, как отец добродушно отнесся к тому, что старый камердинер таскал у него табак. Л. Н-ч прибавляет:

«Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целую его белую, жилистую руку. Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему до тех пор, пока он не умер».

Особенно сильно было влияние доброго, вдумчивого брата, Николая, затевавшего с младшими братьями особые игры, в которых затрагивались самые важные вопросы людских отношений и разрешались всегда с любовью и единением. Достаточно вспомнить игру в муравейных братьев, Фанфаронову гору и зеленую палочку, о которых Л. Н-ч говорит в своих воспоминаниях, чтобы понять, какое важное влияние имел старший брат на Л. Н-ча.

«Идеал муравейных братьев, – заключает так Л. Н-ч свои воспоминания о брате Николае, – льнувших любовью друг к

другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает».

Хотя брат Дмитрий и возбуждал насмешки в среде своих братьев и сверстников своим религиозным настроением и набожностью, но мы уверены, что он бессознательно для Л. Н-ча сеял в его душе семена религиозности.

Мать и тетушка Л. Н-ча любили принимать странников, юродивых и других, так называемых, «людей божьих», и они сделали свое дело, заронили свои искорки простой, наивной, народной веры, которую душа будущего великого художника и мыслителя возвеличила, окрасила радужными цветами поэзии и дала ей разумный смысл.

«Много воды утекло с тех пор, – пишет Л. Н-ч в своем «Детстве», – много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами. Даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование, – но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое он возбудил, никогда не умрут в моей памяти».

В своих заметках при просмотре рукописи первого тома биографии Л. Н-ч прибавляет:

«Юродивых много разных бывало в нашем доме, и я – за

что глубоко благодарен моим воспитателям – привык с великим уважением смотреть на них. Если и были среди них неискренние, самая задача их жизни была, хотя и практически нелепая, такая высокая, что я рад, что с детства бессознательно научился понимать высоту их подвига. Они делали то, что говорит Марк Аврелий:

«Нет ничего выше того, как то, чтобы сносить презрение за свою добрую жизнь». Так вреден, так неустраним соблазн славы людской, примешивающийся всегда к добрым делам, что нельзя не сочувствовать попыткам не только избавиться от похвалы, но вызвать презрение людей».

Вот, кажется нам, главнейшие струи того доброго влияния, которые питали молодую душу Л. Н-ча и делали ее чувствительной к добру и возбуждали в нем идеальные мечты и стремления.

Но уже в раннем детстве он увидел и иную, темную сторону жизни. Он испытал препятствия, останавливался в недоумении при столкновении мечты и действительности, мира идеального и реального, и это реальное больно кололо его и заставляло задумываться над разрешением жизненного противоречия.

В своих воспоминаниях он припоминает несколько случаев нанесенной ему обиды. И в его детской голове зарождалось сознание, что не все и не всегда его любят, не все и не всегда удается ему, что в жизни есть препятствия, с которыми ему, с его слабыми детскими силами, нельзя бороться

и приходится покоряться им, терпеть лишения, разочарования.

Наиболее крупным событием такого рокового непобедимого препятствия была смерть отца, потом бабушки, тетки. Эти смерти, кроме сознания неизбежности в жизни каких-то непоправимых несчастий, оставляли еще впечатление торжественной таинственности, к которому пылкое воображение присоединяет различные мистические образы.

Рано пришлось узнать Л. Н-чу чувство долга. В своих «Первых воспоминаниях» он говорит так:

«При переводе меня вниз, к Федору Ивановичу и мальчикам, я испытывал в первый раз, и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек.

...Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги. Я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного».

Сильное и благодетельное впечатление оставило во Л. Н-че его столкновение с гувернером-французом.

«Не помню за что, – говорит Л. Н-ч в своих воспоминаниях, – но за что-то самое не заслуживающее наказания, St.-Thomas, во-первых, запер меня в комнате, а потом угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к St.-Thomas, но и к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной. Едва ли этот

случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь».

Вот в беглом обзоре те психологические данные, из которых складывалась в юные годы душа Льва Николаевича. Разумеется, все перечисленные факты и влияния представляют только типические явления из целого ряда подобных, оставшихся незамеченными или не записанными, и, наконец, вся жизнь заполнялась, кроме того, целым рядом полусознательных влияний. Но так как большая часть приведенных фактов записана самим Львом Николаевичем, то мы видим, что он именно им придавал особое значение, и, стало быть, его сознание было особенно чувствительно к подобного рода явлениям, и именно из такого рода впечатлений слагался, главным образом, его душевный мир.

И вот со всем этим духовным имуществом, со всеми привычками воспитания, руководившими внешними формами проявления всех этих стремлений, он вступает в жизнь.

Он становится помещиком и берется сам управлять доставшимся ему по разделу имением – Ясной Поляной. В то время управление имением было неразрывно связано с управлением и опекою над людьми-крестьянами. И вот мы видим, как сразу сталкиваются мечты и действительность, и как мечты эти разбиваются вдребезги. В душе Л. Н-ча должен зародиться вопрос: как согласовать мечты, стремления, которые он чувствует добрыми, с действительностью, которая как бы не хочет признавать право существования за эти-

ми стремлениями. Но от своих стремлений он отказаться не может, ими полна его молодая душа, он ими живет; остается одно – признать действительность ложью. И вот зарождается мысль о реформе. Но решение этой задачи еще не под силу ему, и она остается в каком-то уголке души, ожидая, когда наступит. ее час.

Затем идут годы беспорядочной, хаотической жизни с борьбой и часто разнузданностью страстей, счастливым окончанием которых является отъезд на Кавказ.

Душа Л. Н-ча нашла там успокоение на лоне дикой природы. От прикосновения к ней, этому вечному источнику силы, Л. Н-ч воспрянул духом, и снова все стремления поднимают свой голос и снова требуют приложения.

Стремление к истине, искание ее, жажда найти общую основу жизни и руководство в ней, после скептического и распущенного душевного периода, уже в то время достигло во Л. Н-че сильного напряжения. И тогда уже он ухватился за самую сущность духовной жизни, за самоотверженную любовь, Но его молодое сознание не могло еще развить широко эту основу и свести к ней все явления жизни. Можно только сказать, что тогда был положен первый камень фундамента его сознательного религиозного храма.

Герой «Казачков» Оленин произносит такую формулу:
«Счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человеке вложена потребность счастья, стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для

себя богатства, славу, удобства жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение...»

Здесь мы видим, как идеальные стремления сталкиваются уже не с внешними общественными условиями, а с личными страстями, эгоизмом, – очевидно, это был уже жизненный опыт, и опять решение в том, что эгоизм, страсть должны быть побеждены, они незаконны, они должны уступить, дать место, освободить к деятельности любовь и самоотвержение. Там же, на Кавказе, пускает росток будущее могучее дерево – художественное творчество. Ощущение этой скрытый еще, но уже дающей знать о себе силы вызывает первое сознание своего призвания.

«Есть во мне что-то, – записывает он в своем дневнике того времени, – что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть как все».

Могучий росток творческой силы стал быстро расти, и первый плод его был оценен людьми, для которых эксплуатация этой силы составляет профессию, – литераторами. И они позвали его к себе. Но Л. Н-ч никогда не мог вступить в их профессиональный союз и остался навсегда свободным художником жизни в самом широком значении этого слова.

А события вокруг него шли своею чередой. Он попадает

в Севастополь. Опять роковое столкновение самых высоких стремлений с самой ужасной действительностью.

Добрые, умные, героически-самоотверженные люди трагично тратили громадные духовные и материальные силы и средства на взаимное истребление.

И на новый вопрос: как быть? – он отвечает внутренне уже не мыслью о реформе общественных отношений, не мыслью об укрощении страстей – какие страсти, какой эгоизм у умирающих героев Севастополя? – у него зарождается мысль о реформе самой основы жизни, реформе христианской религии.

«Осуществлению этой великой, громадной мысли, – говорит он, – я чувствую себя способным посвятить жизнь».

Так сама жизнь учила его, и он черпал силы из этой жизни, накапливал и перерабатывал их в своем сознании, чтобы потом их же направить на реформу и управление жизнью.

Но как и прежние решения, так и это осталось до поры, до времени лежать в тайниках души его.

Он является в общество, пожиная славу; соблазны мира увлекают его, и он снова крутится в вихре страстей.

Вкусивши эти соблазны прогресса и цивилизации, он чувствует неутолимую жажду знания, новых сильных впечатлений, стремление допить до дна этот манящий к себе напиток.

И это новое увлечение было сильнее прежних, так как вместе с этими соблазнами он воспринял теорию, оправдывающую их, теорию прогресса и учительства.

Он никогда не мог целиком принять эти теории: «На второй и, в особенности, на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать», – говорит он в «Исповеди». Но вот он едет в Европу, в Париж, в тот центр, откуда разливается на весь мир этот страшный, привлекательный, сжигающий свет цивилизации, и попадает на смертную казнь.

«Когда я увидел, – говорит он об этом в «Исповеди», – как голова отделилась от тела, и то и другое враз застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего, прогресса не могут оправдать этого поступка, и что если бы все люди в мире по каким бы то ни было теориям с сотворения мира находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно, и что поэтому судья тому, что хорошо и что дурно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я со своим сердцем».

Каким-то роковым образом шел он к решению вопросов жизни.

Стоило ему на время забытья и увлечься каким-нибудь делом, как новый удар отрезвлял его и напоминал ему.

Таким отрезвляющим ударом, расчистившим ему путь к восприятию высшей истины, была для него смерть его брата Николая в 1860 году.

Влияние этой смерти было благотельно, но отрицатель-но. Она разрушила все иллюзии жизни и потому привела его прямо к основе ее.

«Ничто в жизни, – пишет он Фету, – не делало на меня такого впечатления».

И дальше в том же письме:

«Нельзя уговаривать камень, чтобы он падал кверху, а не книзу, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила. Нельзя есть, когда не хочется. К чему все, когда завтра начнутся муки смерти, со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончится нулем для тебя».

Ноль «меня» еще не значит абсолютный ноль. Напротив, только после устранения моего «я» остается одна вечная правда. В тот момент Л. Н-ч дошел только до отрицания своего «я» и не видал дальше. Но путь был расчищен, и, отдохнув на перепутье, он мог продолжать свое движение вперед.

Эта смерть дала ему еще нечто большее: она подтвердила ему его отрицательное отношение к теории прогресса и цивилизации.

«Другой случай, – говорит он в «Исповеди», – сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания».

«Но надо же, – говорит Л. Н-ч в письме к Фету, – куда-нибудь девать силы, которые еще есть. Покуда есть желание

знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно я и делаю и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить ложь».

И он отдается со всею присущею ему страстностью педагогической деятельности.

Параллельно с этой душевной работой, иногда мешавшей ей, иногда направлявшей ее на иной путь, во Л. Н-че жило еще неудовлетворенное стремление к семейной жизни.

Несколько раз в письмах к родным он жалуется на это неудовлетворенное чувство, с грустью смотрит на уходящие годы и на все уменьшающиеся шансы такой семейной жизни, о которой он страстно мечтал.

И вот он, наконец, женат, счастливо женат, и, порвав с педагогическими занятиями, он снова весь уходит в новое для него дело семейной жизни.

И рядом с этим идет еще одно поглощающее все его силы дело – художественное творчество. 60-е годы и половина 70-х проходят в этих двух разделяющих и поглощающих все его душевные силы занятиях: семья с хозяйством и писательство.

«Так прошло еще пятнадцать лет, – пишет Л. Н-ч в своей «Исповеди».

Несмотря на то, что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за мой ни-

чтожний труд, и предавался ему как средству к улучшений своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей».

И все это не могло заглушить того ростка духовной жизни, который был зарожден еще материнской любовью, взлелеян в юные годы, который оберегала судьба, разрушая своими ударами соблазны, едва не задавившие его, и росток этот пророс сквозь кучу наваленного на него мусора.

«Так я жил, – говорит Л. Н-ч в «Исповеди», – но пять лет тому назад мной стало случаться что-то странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему.

Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачем? ну, а потом?

Я понял, что это не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них».

Это были первые серьезные признаки приближающегося так называемого кризиса, но, в сущности, это было прорастание все той же духовной жизни, рост которой во Льве Николаевиче никогда не останавливался и только временами замирал, чтобы потом возродиться с новой силою, с новой по-

бедою над внешними обстоятельствами.

И вот в конце 70-х годов, мы видим этот новый расцвет ростка духовной жизни, с такой силой пробившегося сквозь давившие его внешние условия, что задавить его снова не смогли уже силы мира сего. Этот важный момент своей жизни Л. Н-ч сам описал в своей «Исповеди». Это значительно облегчает нашу задачу. Но «Исповедь» – все-таки литературное произведение, обращенное ко всем людям, и в нем, как во всяком литературном произведении, подвергшемся значительной переработке, исчезли некоторые драгоценные черты сырого материала и прибавились те места, которые написаны в виду впечатления, которое они должны производить на публику.

Наша задача будет взять из этого произведения ту сущность его, без которой неясен ход этого процесса, и добавить то, что имеется в наших руках из сырого, частного материала, чтобы как можно сильнее оживить самый жизненный процесс этого времени, показать его биографическую сторону.

По-видимому, еще в 1874 году Л. Н-ч задумал писать нечто подобное «Исповеди», т. е. произведение, выражающее мысль о необходимости религии как основы жизни. В его записной книжке 1874 года мы находим такой набросок предисловия к задуманной книге:

«Есть язык философии, я им не буду говорить. Я буду говорить языком простым. Интерес философии общий всем и

судьи все. Философский язык выдуман для противодействия возражению. Возражений я не боюсь, я ищу. Я не принадлежу ни к какому лагерю. И прошу читателей не принадлежать. Это первое условие для философии. Материалистам я должен возразить в предисловии. Они говорят, что кроме земной жизни ничего нет. Я должен возразить, потому что если бы это было так, то мне бы и не о чем писать. Проживя под 50, я убедился, что земная жизнь ничего не дает, и тот умный человек, который взглянется в земную жизнь серьезно: труды, страх, упреки, борьба, – зачем? род сумасшествия, тот сейчас застрелится, и Гартман... Шопенгауэр прав. Но Шопенгауэр давал чувствовать, что есть что-то, отчего он не застрелился. Вот это-то «что-то» есть задача той книги. Чем мы живем? – Религия».

Можно думать, что именно на это произведение намекает Лев Николаевич в письме к Фету в марте 1874 года по поводу смерти своего маленького сына; он говорит о сюжете нового писания, овладевшем им именно в самое тяжелое время болезни ребенка. Но это был лишь проблеск сознания. С тех пор они становятся чаще и чаще, и в письмах Л. Н-ча к своим друзьям все чаще и чаще попадают слова, указывающие на начавшуюся уже в нем и все разгорающуюся душевную работу.

Из следующего письма к Фету видно, как мысль о смерти начинает овладевать Л. Н-чем:

30 апреля 1876 года.

«Получил ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и из этого коротенького письма, и из разговоров М. П., переданных мне женой, и из одного из последних писем ваших, в котором я пропустил фразу «хотел звать вас посмотреть, как я уйду», написанную между соображениями о корме лошадям и которую я понял только теперь, я перенесся в ваше состояние, мне очень понятное и близкое, и мне стало жалко вас. И по Шопенгауэру, и по нашему сознанию, сострадание и любовь – одно и то же, и захотелось вам писать. Я благодарен вам за мысль позвать меня посмотреть, как вы будете уходить, когда вы думали, что близко. То же сделаю я, когда соберусь туда, если буду в силах думать. Мне никого в эту минуту так не нужно было бы, как вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее, и вы, и те редкие настоящие люди, с которыми я сходил в жизни, несмотря на здоровое отношение к жизни, всегда стоят на самом краешке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану, в беспредельность, в неизвестность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение. А люди житейские, сколько они ни говори о боге, неприятны нашему брату и должны быть мучительны во время смерти, потому что они не видят того, что мы видим, именно того бога, более неопределенного, более далекого, но более высокого и несомненного, как говорится в этой статье.

Вы больны и думаете о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто прежде. Но мне вдруг из разных незаметных данных так ясна стала ваша глубоко родственная мне натура-душа (особенно по отношению к смерти), что я вдруг оценил наши отношения и стал гораздо больше, чем прежде, дорожить ими. Я многое, что я думал, старался выразить в последней главе апрельской книжки «Русского вестника».

В этой последней главе апрельской книжки «Русского вестника» помещено описание смерти Николая Левина.

Вот заключительные слова этой главы, очевидно выражавшие его тогдашнее настроение:

«Вид брата и близость смерти возобновили в душе Левина то чувство ужаса перед неразгаданностью и вместе близостью и неизбежностью смерти, которое охватило его в тот осенний вечер, когда приехал к нему брат. Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде: еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность; но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его в отчаяние: он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасла его от отчаяния, и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище». Религиозные вопросы теперь все чаще и чаще захватывают его интерес. В письме к Н. Н. Страхову

в мае 1876 года он пишет следующее:

«На днях П. Самарин был у меня и читал мне немецкую статью брата своего Юрия о религии. Вы прочтете ее в «Православном обозрении»; пожалуйста, напишите мне свое мнение. В ней хорошо доказательство, основанное на воздействии бога на человека (хотя гегельянское) и на важности, которую человек приписывает своей личности. Поразительна тоже в том же роде важность и несомненность, которую приписывает человек веществу, материи. Он про это не говорит. Но не правда ли, что нет более важных, простых и несомненных знаний, как знание своей личности и вещества? И оба знания одинаково отрицаются. И что значительность, которую имеют эти два камня знания, надо принимать в соображение и объяснить».

В сентябре того же года Л. Н-ч ненадолго съездил в самарское имение в сопровождении своего племянника Николая Толстого. Оттуда он проехал в Оренбург. В области сельского хозяйства Л. Н-ч увлекался в то время разведением лошадей, за ними он и поехал в Оренбург. Там он встретил своего старого приятеля и севастопольского сослуживца генерала Крыжановского (бывшего тогда оренбургским генерал-губернатором) и очень приятно провел время в воспоминаниях давно пережитого.

В сентябре он писал жене своей, видимо о труде отпущившей его в эту поездку:

«Я знаю, что тебе тяжело и страшно, но я видел то усилие, которое ты делала над собой, чтобы не помешать мне, и если можно, то еще больше люблю тебя за это. Если бы только бог дал тебе хорошо, здорово и энергично, деятельно провести это время, господи помилуй тебя и меня».

Опять эта религиозная нотка, не попадавшаяся раньше в его письмах. Характерна также следующая заметка в письме графини С. А. к ее сестре, писанном в сентябре того же года:

«Левочка постоянно говорит, что все кончено для него, скоро умирать, ничто не радует, нечего больше ждать от жизни».

То же настроение видно и из следующего письма Л. Н-ча к Страхову, в котором он, несмотря на это тяжелое настроение, высказывает глубокие философские мысли.

13 ноября 1876 года. Ясная Поляна.

«Вы истинный друг, дорогой Николай Николаевич. Несмотря на мое молчание и молчание на важное письмо ваше, вы все-таки радуете меня своими письмами. Не могу выразить, как я благодарен вам за последнее, не заслуженное мною, письмо ваше. Чтобы объяснить и оправдать мое молчание, должен говорить о себе. Приехав из Самары и Оренбурга, вот скоро два месяца (я делал чудесную поездку), я думал, что возьмусь за работу, окончу давящую меня работу, окончание романа, и возьмусь за новое, и вдруг вместо этого всего ничего не сделал. Сплю духовно и не могу проснуть-

ся. Нездоровится, уныние. Отчаяние в своих силах. Что мне суждено судьбой – не знаю, но доживать жизнь без уважения к ней – а уважение к ней дается только известного рода трудом – мучительно. Думать даже – и к тому нет энергии. Или совсем худо, или сон перед хорошим периодом работы. Думать не могу сам, но понимать могу, особенно вас, и понял и оценил ваше первое письмо и всей душой желаю, чтобы вы окончили этот труд. Я перечел его несколько раз и читал Фету, и мы с ним поняли и одобрили ваши мысли, насколько мы их поняли. Одно, вопрос о том, что есть настоящее познание, требует невольно ответа. Настоящее, по-моему – и я уверен, по-вашему будет так же, но вы лучше меня это выразите – дается сердцем, т. е. любовью. Мы знаем то, что любим только. Последний вопрос ваш в нашей философской переписке был: что есть зло? Я могу ответить на него для себя. Разъяснение на этот ответ я вам дам в другой раз, и надеюсь на Рождестве. Мы с женой мечтаем, что вы приедете. Пожалуйста, приезжайте. Так ответ следующий: зло есть то, что разумно с мирской точки зрения. Убийство, грабеж, наказание, все разумно – основано на логических выводах, Самопожертвование, любовь – бессмыслица. Был я на днях в Москве только за тем, чтобы узнать новости о войне. Все это очень волнует меня. Теперь вся ерунда сербского движения, ставши историей прошедшего, получила значение. Та сила, которая производит войну, выразилась преждевременно и указала направление».

Признание мирской разумности злом и мирской нелепости добром – вот где начало критического отношения ко всему окружающему и зарождение религиозного сознания.

Старая жизнь для него действительно кончилась. Он нес ее только уже по инерции, но нужна была большая встряска душевная, чтобы быть в состоянии сбросить ее.

Это заглядывание «за пределы жизни» стало скоро для Л. Н-а почти постоянным настроением души.

Через год он пишет Фету:

«Вы в первый раз говорите мне о божестве – бога. А я давно уже не перестаю думать об этой главной задаче. И не говорите, что нам нельзя думать; не только можно, но должно. Во все века лучшие, т. е. настоящие люди думали об этом. И если мы не можем так же, как они, думать об этом, то мы обязаны найти как. Читали ли вы «Pensees de Pascal», т. е. недавно, на большую голову, Когда, бог даст, вы приедете ко мне, мы поговорим о многом, и я вам дам эту книгу».

С отрицательной стороны настроение Л. Н-ча в это время отражается в его письме к Страхову в том же году:

«Мучительно и унижительно жить в совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно. Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым, т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда. Пожалуйста, не утешайте меня, и в особенности тем, что я –

писатель. Этим и уже давно и лучше вас себя утешаю, но это не берет и только внемлет моим жалобам, и это уже меня не утешает. На днях слушал урок священника детям из катехизиса. Все это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов, что мне захотелось попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался. И попытка эта показала мне, как это для меня трудно и – боюсь – невозможно: И от этого мне грустно и тяжело».

В это время Л. Н-ч был еще православным. Урок православного закона Божия уже вызывает в нем отвращение к «такому» православию, и он пытается изложить «свое православие». Но так как его вера была совсем не православие, которое только случайно, временно прикрывало внешним образом его веру, то он, конечно, и не мог изложить его.

Каким же образом пришел Л. Н-ч к этой вере, которую он называет православной потому только, что ему страстно хотелось быть в духовном единении с массой рабочего народа, творящего, как он выражался, жизнь?

Он пришел к ней мучительным многолетним путем, который описывает в «Исповеди».

Внутренняя жизнь его и внешние толчки, напоминающие ему о том, что есть что-то неразрешенное в этой жизни, привели его к остановке жизни, к желанию убить себя. Его жизнь стала казаться ему насмешкой кого-то злого над ним; состояние его было подобно состоянию того человека, про кото-

рого говорится в восточной сказке:

«Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодец, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы быть пожранным драконом, ухватывается за ветки растущего в расщелине колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он держится и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обрушится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветви жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и я не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня, но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мыши день и ночь подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона и мышей, – и не могу отвести от них взоров. И это не басня, а это истинная, неоспоримая всякому понятная правда».

Он метался от ужаса и, боясь конца, хотел приблизить его. Жизнь его держалась на волоске, но какая-то сила еще удерживала его, ему смутно казалось, что есть еще надежда найти разумный выход, и вот он обращается к науке опытной и

науке умозрительной, ища ответа на мучающие его вопросы.

Но ни в той, ни в другой науке он ответа не находит.

Опытное знание игнорирует вопросы о конечных целях существования мира и человека.

Добросовестные же умозрительные науки ставят эти вопросы, но ответа на них не дают.

Тогда он обращается к классической мудрости, вопрошает Сократа, Шопенгауэра, Соломона и Будду, и ответы их только подтверждают безнадежность его положения.

«Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его», – говорит Сократ.

«Жизнь есть то, чего не должно быть, – зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни», – говорит Шопенгауэр.

«Все в мире – и глупость, и мудрость, и богатство, и нищета, и веселье, и горе, – все суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо», – говорит Соломон.

«Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя, – надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни», – говорит Будда.

Итак, искание ответа в знаниях не дало ему удовлетворения, и его мучения продолжались. Тогда он обращается к жизни и смотрит на жизнь окружающих. Как же живут они? И он видит четыре выхода, которые находят окружающие его люди из этих неразрешимых для него жизненных вопросов:

Первый выход – это неведение. Это люди, которые еще не поняли тех ужасных вопросов, которые мучат его, и потому у них ему нечему было учиться.

Второй выход – эпикурейство. Это те, кто не хотят сознательно видеть опасности и лижут мед, находящийся близко от них. Но для того, чтобы стать в это положение, нужно, во-первых, некоторые благоприятные обстоятельства, а во-вторых, некоторую нравственную тупость, позволяющую не видеть как своей гибели, так и гибели тех, кто служит их прихотям. И этот второй выход Л. Н-ч не мог принять.

Третий выход был самоубийство. Многие сильные люди, поняв неизбежность гибели, сознательно кончали с собою. Л. Н-ч часто был близок к тому, но у него еще не было той полной безнадежности, которая может привести к этому.

Четвертый выход был выход слабости. Знать все и не иметь сил покончить с собой, тянуть жизнь...

«Это, – говорит Л. Н-ч, – было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении».

Нерешительность эта, как думает Л. Н-ч, происходила не только от слабости, трусости его. Причины ее лежали глубже. Ему смутно чувствовалось сомнение в истинности всех доводов, приводящих к такой безнадежности, такому отчаянию. К сомнению приводили такого рода рассуждения: «Если мой разум – творец жизни, то как же он приводит меня к отрицанию ее? Если же разум есть сын жизни, последствие ее, то, тем более, как может он отрицать то, что породило

его?»

Наконец, жизнь миллионов живущих и знающих рассуждение о тщете жизни и вместе с тем видящих смысл в ней, не дает права легко решиться на последнее, отчаянное средство – самоубийство. Все эти смутные доводы Л. Н-ч объединяет под одним названием «сознания жизни». Эта сила спасла его. Она не дала ему убить себя и обратила его взоры на жизнь рабочего народа.

И когда он взгляделся в жизнь народа, он увидал, что смысл жизни ему давала вера.

«И я оглянулся – говорит Л. Н-ч в «Исповеди», – на огромные массы отживших и живущих простых, неученых и небогатых людей и увидел совершенно другое. Я увидел, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, потому что они сами ставят его и с необыкновенною ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их слагается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняется ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, при-

даваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном ложном знании».

Из этого видимого противоречия Л. Н-чу представлялось два выхода. Он предполагал, что он ошибся в своих изысканиях по одному из двух направлений и что ему нужно или признать что-то, что он считал разумным, не столь разумным, или что-то, что ему казалось неразумным, не столь неразумным. И, проверяя выводы своего разума, он нашел ошибку в том, что в его рассуждениях понятие конечного и бесконечного смешивались им и не ставились на свойственное им место.

Жизнь человека выражается в отношении конечного к бесконечному и это отношение определяется и объясняется верою. Вера придает конечному существованию смысл бесконечного. Вера не основана на выводах разума, но она всеобща: где вера, там жизнь. И потому она истинна. Вера есть знание жизни. Вера есть сила жизни.

Если человек не видит призрачность конечного, он верит в конечное. Если видит призрачность конечного, он должен верить в бесконечное, чтобы жить. Но Л. Н-чу нужно было верить сознательно, избрать то вероучение, которое соответствовало бы его сознанию. И он принимается за изучение различных вер. Он читает Ренана, Штрауса, Макса Мюллера, Бюрнуфа, он изучает талмуд и ислам, увлекается буддизмом, но все-таки душа его тянет к христианству, он особенно долго останавливается на нем и знакомится с различными

школами теоретического и практического христианства.

И он снова замечает, что когда он знакомится с вероучением своего круга, он снова теряет надежду найти ответы на вопрос о смысле жизни. Он заметил, что для высшего круга людей вера была одним из эпикурейских утешений. И снова он обращается к народу, творящему жизнь, и видит, что для него вера есть основа жизни. Жизнь верующих высшего круга была противоречием их вере; жизнь верующих из народа была подтверждением их вере, последствием ее. И среди них он не видел боязни страдания и смерти, а напротив, спокойную и даже радостную покорность им.

«Я любил этих людей, – говорит Л. Н-ч. – Чем больше я вникал в их жизнь, живых людей, и в жизнь умерших людей, про которых я читал и слышал, тем больше я любил их и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, науки, искусства, – все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это – одно баловство; что искать смысла в этом нельзя. Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представилась мне в ее настоящем значении. Я понял, что это – сама жизнь, и что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его».

Л. Н-ч понял, что он заблудился, что его жизнь была зло, а не жизнь вообще. Он полюбил хороших людей, возненавидел себя и признал истину. Чтобы понять жизнь, надо творить ее.

Этот момент жизни Л. Н-ча следует отнести к 1878 году. Мир сошел в его душу, но процесс еще не был закончен. Он пристал к народной вере. Но главная основа веры – бог не был для него ясен, он искал его.

«В это же время, – пишет Л. Н-ч в «Исповеди», – со мной случилось следующее. Во все время этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, – во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием бога».

В этих исканиях он доходил до того, что начинал молиться тому, которого искал, о том, чтобы помог ему. Но молитву его никто не слышал, и отчаяние продолжалось.

Во время этих исканий Л. Н-ч заметил в душе своей колебание от полного отчаяния к неизмеримой радости бытия; он заметил, кроме того, что эти колебания совпадали с решением его разума и чувства об отвержении бога или принятии его. И он сказал себе:

«Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога; ведь я бы уже давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти

его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? – воскликнул во мне голос. Так вот он. Он есть то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь».

И он спасся от отчаяния, жизнь вернулась к нему, та самая сила жизни, которая влекла его на первых порах его жизни, только теперь она в нем стала сознательной. Вера была найдена, оставалось очистить ее от наростов времени и невежества.

Мы видели выше, что Л. Н-ч принял народную веру, нашел своего бога. Мы видели также, что многое в этой вере не удовлетворяло его: были, собственно, не в народной, но в церковной вере догматы, обряды, молитвы, отталкивавшие Л. Н-ча от себя. И он употреблял все усилия ума и чувства, чтобы как-нибудь приспособиться к ним, с терпением и смирением переносить их.

Дело было для него слишком важно, чтобы позволить себе легкомысленное отношение к ним.

Если человеку, спасенному от смерти, дадут неудобную одежду, несовершенную пищу, плохое жилище, он будет рад и им, потому что главное – жизнь – даровано ему, остальное можно потерпеть, изменить, улучшить, лишь бы главная сила жизни была налицо. Так было и со Л. Н-чем. Это свое состояние и свое отношение к народной вере он в таких словах изображает в «Исповеди»:

«Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, – того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно так выразиться, был следующий. Всякий человек, произошел на этот свет по воле бога. И бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по божьи, а чтобы жить по божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, передаваемого ему пастырями и преданиями, живущими в народе. Смысл этот мне ясен и близок моему сердцу».

Отношение Л. Н-ча к вере совершенно изменилось.

Прежде он полагал, что жизнь сама по себе имеет смысл, и что вера является каким-то ненужным придатком, и он, не терпевший ничего фальшивого, бросил ее. Теперь же он увидел, что жизнь без веры не имеет смысла. Он хотел бросить жизнь, но вера спасла его, и он всем существом своим ухватился за нее. И он готов был на всякие жертвы, чтобы только

иметь возможность остаться в той тихой пристани, к которой он пришел после стойких мучений, – в народной вере.

Но тот высший разум, который привел его сюда, указывал ему, что и здесь оставаться нельзя. Сделки с разумом, смирение перед величием главных основ веры имело предел, и Л. Н-ч вскоре почувствовал, что ему надо идти дальше.

Он говорит, что он бы скорее бросил ложь, но ему помогли некоторое время держаться в этом неустойчивом положении новые богословские сочинения, так называемое новое православие, определяющее церковь как общество верующих, соединенных любовью. Но и это искусственное оживление умирающего организма не могло долго действовать.

И для него скоро ясно раздвоилось его отношение к православной вере.

Сближение с народом, странниками, сектантами, раскольниками, чтение житий святых, прологов – давало смысл. Беседа же с богословами вызвала только дурное чувство осуждения их, отталкивала его от исповедуемой им веры, и жизнь снова начинала для него терять смысл.

Он понял, что тогда как для него и для народа вера есть смысл жизни, для богословов и верующих высшего круга вера есть исполнение перед людьми известных человеческих обязанностей, не задевающих основы жизни.

В двух вопросах он коренным образом разошелся с представителями церкви:

- 1) Отношение к людям других вер, в которых он видел

своих братьев, лишь иным путем пришедших к исповедуемой ими истине, тогда как представители церкви видели в них злейших врагов своих.

2) Отношение к насилию, казням и войнам. Для него это были преступления. Церковь благословляла их. И он отпал от церкви.

Но чтобы с полным сознанием выйти из нее, отделить в христианском учении золото от песка, он подвергнул снова тщательному исследованию и учение церкви, и самый источник христианского учения – Евангелие.

Глава 15. Влияние кризиса на отношение Льва Николаевича к окружающей среде

Рассмотрим теперь несколько документов, дающих нам понятие о том, что думал, говорил и писал Л. Н-ч в это время в своей среде, как вся эта внутренняя борьба отражалась на его отношениях к окружающей людям.

Конечно, одним из первых, кто знал все перемены, происходившие во Л. Н-че, был Н. Н. Страхов. И письма Л. Н-ча к нему за это время полны глубокого интереса. Мы приводим некоторые из них, наиболее существенные.

Страхов был скептик, не имел твердых, ясных религиозных убеждений и откровенно сознавался в этом Л. Н-чу.

В январе 1878 года Лев Николаевич, между прочим, пишет ему следующее:

«Об искании веры... Вы пишете, что всякие сделки с мыслью вам противны, мне тоже. Еще пишете, что для верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло благочестием (я бы заметил: лишь бы проникнуто было верою, надеждою и любовью). Они в бессмыслицах, как рыба в воде, им противно ясное и определенное. И я тоже. Я об этом начал писать и написал довольно много, но теперь оставил, увлекшись другими занятиями, но рассчитываю на вашу способ-

ность (необычайную) понимать других, попытаюсь в этом письме сказать, почему я думаю, что то, что вам кажется странным, вовсе не странно. Разум мне ничего не говорит и не может сказать на три вопроса, которые легко выразить одним: что я такое? Ответы на эти вопросы дает мне в глубине сознания какое-то чувство. Те ответы, которые мне дает это чувство, смутны, неясны, невыразимы словами (орудием мысли); но я не один искал и ищу ответы на эти вопросы. Все жившее человечество в каждой душе мучимо было теми же вопросами и получало те же смутные ответы в своей душе. Миллиарды смутных ответов однозначных дали определенность ответам. Ответы эти – религия. На взгляд разума ответы бессмысленны. Бессмысленны даже по одному тому, что они выражены словами, но они все-таки одни отвечают на вопросы сердца. Как выражение, как форма они бессмысленны, но как содержание они одни истинны. Смотрю всеми глазами на форму – содержание ускользает; смотрю всеми глазами на содержание – мне дела нет до формы. Я ищу ответа на вопросы по существу своему, во имя разума и требую, чтобы они выражены были словом, орудием разума, и поэтому удивляюсь, что форма ответов не удовлетворяет разум. Но вы скажете: поэтому и ответов не может быть. Нет, вы не скажете этого, потому что вы знаете, что ответы есть, что этими ответами только живут, жили все люди, и вы сами живете. Сказать, что этих ответов не может быть, – все равно, что сказать, ехавши по льду, что реки не могут замер-

зять, потому что от холода тела сжимаются, а не расширяются. Сказать, что эти ответы бессмысленны – то же, что сказать, что я чего-то в них не умею понимать. И не умеете вы понимать, как мне кажется, вот чего: ответы спрашиваются не на вопросы разума, а на вопросы другие. Я называю их вопросами сердца. На эти вопросы с тех пор, как существует род человеческий, отвечают люди не словами, орудием разума, частью проявления жизни, а всею жизнью, действиями, из которых слово есть одна только часть. Все те верования, которые я имею, и вы, и весь народ, основаны не на словах и рассуждениях, а на ряде действий, жизни людей, непосредственно (как зевота) влиявших одни на других, начиная с жизнью Авраамов, Моисеев, Христов, святых отцов, их жизнями и внешними даже действиями – коленопреклонениями, постом, соблюдением дней и т. д. Во всей массе бесчисленных действий этих людей почему-то известные действия выделялись и составляли одно целое предание, служащее единственным ответом на вопросы сердца. И потому для меня в этом предании не только нет ничего бессмысленного, но я даже и не понимаю, как к этим явлениям прилагать проверку смысленного и бессмысленного. Одна проверка, которой я подвергаю и всегда буду подвергать эти предания, это то, согласны ли даваемые ответы со смутным одиночным ответом, начертанным у меня в глубине сознания (о котором я говорил раньше). И потому, когда мне это предание говорит, что я должен хоть раз в год пить вино, которое называ-

ется кровью бога, я понимаю по-своему или, вовсе не понимая этого акта, исполняю его. В нем нет ничего такого, что бы противоречило смутному сознанию. Также я в известные дни ем капусту, а в другие – мясо; но когда мне предание (изуродованное борьбой разума с различными толкованиями) говорит; «будемте все молиться, чтобы побить побольше турок», или даже говорит, что тот, кто не верит, что это настоящая кровь и т. п., тогда, справляясь не с разумением, но хоть со смутным, но несомненным голосом сердца, я говорю, это предание – ложное. Так что я вполне плаваю, как рыба в воде, в бессмыслицах и только не покоряюсь тогда, когда предание мне передает осмысленные им действия, не совпадающие с основной бессмыслицей смутного сознания, лежащего в моем сердце. Если вы поймете, несмотря на неточность моих выражений, мою мысль, напишите, пожалуйста, согласны ли вы с ней или нет, и тогда почему. Совестно мне говорить, но говорю, что чувствую. Я так убежден в том, что я говорю, и убеждение это так для меня отрадно, что я не для себя желаю вашего суждения, но для вас. Мне бы хотелось, чтобы вы испытывали то же спокойствие и ту же свободу духовную, которую испытываю я. Знаю, что пути постигновения даже формальных математических истин для каждого ума – свои, тем более они должны быть свои особенные для постигновения метафизических истин, но мне так ясно (как фокус, который вам показан), что не могу понять, в чем для других может быть еще непонятен этот фо-

кус. Знаю тоже, что если мне в Москву надо ехать на север и сесть на машину в Туле, то это никак не может служить общим правилом для всех людей, находящихся на разных концах света и желающих приехать в Москву, тем более для вас, потому что знаю, что у вас с собой много поклажи (ваше знание и прошедшие труды), а я налегке, но я могу вас уверить, что я в Москве, больше никуда не могу желать ехать и что в Москве очень хорошо».

Страхов снабжал Л. Н-ча книгами, между прочим прислал ему «Жизнь Ииуса Христа» Ренана, книгу, которой Страхов, по-видимому, сочувствовал. Во Л. Н-че эта книга вызвала удивление, почти отвращение. Вот как он выражает это чувство и эти мысли в письме к Н. Н. Страхову в апреле того же 1878 года:

«Другое это то, что я ныне говел и стал читать Евангелие и Ренана, «Жизнь Иисуса», всю прочел, и все время читал и удивлялся на вас. Могу объяснить ваше пристрастие в Ренану только тем, что вы были очень молоды, когда читали его. Если у Ренана есть какие-нибудь свои мысли, то это две следующие: 1) что Христос не знал *l'evolution et le progres*, и в этом отношении Ренан старается поправлять его и с высоты этой мысли критикует его (стр. 314, 315, 316). Это ужасно, для меня по крайней мере; прогресс, по мне, есть логарифм времени, т. е. ничего, констатизм факта, что мы живем во времени, и вдруг это-то становится судьей высшей степени, которую мы знаем. Легкомысленность или недобросо-

вестность этого воззрения удивительны. Христианская истина, т. е. наивысшее выражение абсолютного добра есть выражение самой сущности вне формы, времени и др. Ренаны же смешивают ее выражение абсолютное с выражением ее в истории и сводят ее на временное проявление, и тогда обсуждают. Если христианская истина высока и глубока, то только потому, что субъективна абсолютно. Если же рассматривать ее объективное проявление, то она наравне с Code Napoleon и т. п. Другая новая у Ренана мысль – это то, что если есть учение Христа, то был какой-нибудь человек, и этот человек непременно потел и ходил на час. Для нас из христианства все человеческие унижающие реалистические подробности исчезли потому же, почему исчезли все подробности обо всех, живших когда-нибудь жидях и др., потому, почему все исчезает, что не вечно, т. е., песок, который не нужен, промыт, осталось золото, по неизменяемому закону: кажется, что же делать людям, как не брать это золото? Нет, Ренан говорит, если есть золото, то был и песок, и он старается найти, какой был песок. И все это с глубокомысленным видом. Но что еще более забавно бы было, если бы не было так ужасно глупо, это то, что и песку этого они не находят никакого и только утверждают, что он должен был быть. Я прочел все и долго искал и спрашивал себя: ну, что же из этих исторических подробностей я узнал нового? И вспомните и сознайтесь, что ничего, ровно ничего. Я предполагаю дополнить Ренана, сделать соображения о том, какие и как были физиче-

ские отправления. Все прогресс, все evolution. Может быть, что для того, чтобы узнать растение, надо знать среду, и даже чтобы узнать человека как государственное животное, надо узнать среду и движение, развитие, но чтобы понять красоту, истину и добро, никакое изучение среды не поможет, да и не имеет ничего общего с рассматриваемым. Там идет по плоскости, а тут совсем другое направление – вглубь и вверх. Нравственную истину можно и должно изучать и конца ее изучения нет, но это изучение идет вглубь, как ведут его люди религиозные, а это детская, пошлая и подлая шалость».

В том же 1878 году Л. Н-ч начинает снова писать дневник, после 13-летнего перерыва. Вот первые записи его:

«22 мая. Окончил Болотова. Читал Парфения. Раскол наводит меня сильнее и сильнее на важность мысли о том, что признак истинности церкви есть единство ее (всеобщее единство), но что единство это не может быть достигнуто тем, что я или В. обратил всех других к своему взгляду на веру (так делалось до сих пор, и все расколы, папство, Лютер и др. – плод этого), но только тем, что каждый, встречаясь с несогласным, отыскивая в себе причины несогласия, отыскивает в другом те основы, в которых они согласны. Осмиконечный и четвероконечный крест и пресуществление вина или воспоминание – разве не то же ли самое?

Был у обедни в воскресенье. Под все в службе я могу подвести объяснение, меня удовлетворяющее. Но «многие лета» и «одоление на врагов» есть кощунство. Христианин должен

молиться за врагов, а не против их.

Читал Евангелие. Везде Христос говорит, что все временное ложно, одно вечное, т. е. настоящее, «птицы небесные» и др. И на религию смотреть исторически есть разрушение религии.

3 июня. Был Бобринский. Измучил меня своими разговорами о религии, о слове. Его страсть говорить. Самообольщение удивительное. Для меня он важен был тем, что на нем с ужасной очевидностью ясно заблуждение основания веры на слове, на одном слове. Вчера писал довольно много в маленькую книжку – сам не знаю зачем – о вере».

У нас сохранилась эта удивительная запись в «маленькую книжку»; приводим ее целиком:

«1878 года 2 июня. Человек хочет и любит все телесные блага приобрести для себя одного, а духовные блага приобретать для других, чтобы хвалили его. Человек должен все телесные блага отбросить от себя и предоставить другим, а духовные блага приобретать только для себя одного.

С богом нельзя иметь дело, вмешивая посредника и зрителя; только с глаза на глаз начинаются настоящие отношения, только когда никто другой не знает и не слышит, бог слышит тебя.

Не доказательство, но объяснение форм моей веры.

1) Если я не удовлетворяюсь и, главное, не увлекаюсь изучением частным, а желаю узнать, понять хоть что-нибудь вполне, я вижу, что я ничего не могу знать, что ум мой для

жизни временной, орудие для настоящего знания – игрушка, обман (Паскаль). Если я попытаюсь объяснить себе значение моих чувств, я увижу, что ум даже и не берется обмануть меня (Страхов). Если я попытаюсь обобщить и назвать те места, где для меня открывается мое незнание и невозможность знания, то я найду следующие безответные вопросы:

а) Зачем я живу? б) какая причина моему и всякому существованию? в) какая цель моего и всякого существования: г) что значит и зачем то раздвоение добра и зла, которые чувствую в себе? д) как мне надо жить? е) что такое смерть? Самое же общее выражение этих вопросов и полное есть: как мне спастись? Я чувствую, что погибаю. Живу и умираю, люблю жизнь и боюсь смерти – как мне спастись?

2) Разумная мысль не только моя, но всего человечества не дает на этот вопрос никакого ответа. Даже когда она трезва и хочет быть точна, она говорит, что не понимает даже этого вопроса. А все-таки я и все человечество спрашивает: как нам спастись? Разумная мысль не дает ответа. Но плод деятельности человеческой же, похожей по внешности на разумную мысль, похожей, потому что выражается (отчасти) так же, как и разумная мысль, словом, дает эти ответы. Ответ этот религия. И ответ этот не такой, который бы надо с трудом искать, который бы был скрыт от людей и который бы получался особенным трудным, искусственным путем. Если бы ответ этот был таков, что, имея в виду ту ответственность, которую мы видим во всем, можно бы было усомнить-

ся в нем; но ответ таков, что он сопутствует постоянно вопросу, что нет человека, который бы был лишен его. Лишены его только те люди, которые или не делают вопроса, молодые, страстные, любящие жизнь, или те, которые, принимая ответы веры (словесные) за разумные ответы, требуют от них разумной доказательности, забывая, что разум бессилён дать ответы и прямо отрицает самый вопрос. Но все человечество и теперь живет и всегда жило и умирало с ответами на эти вопросы.

Но может быть, ответы эти – суеверия? Одно доказательство бы было, что можно и без них жить, – жить полной жизнью. Исключения мыслителей и испорченных не доказывают. Другое доказательство, что в них нет единства. Единство есть, оно-то и истина. Третье доказательство, что они неразумны, но ответы и не хотели быть разумны. Если предполагается, что они хотят быть разумны, то только оттого, что ответы отчасти выражены словом, орудием разума. Все же ответы выражены преданием, действием, жизнью.

3) Какой же ответ или какие ответы дает им религия? За исключением тех случайных людей, которые на разумный вопрос «как спастись?» ищут разумного ответа, все остальные, т. е. все видят ясные и точные ответы в религиях: «принеси в жертву людей для бога», «иди в Мекку и Медину для бога», «ставь свечи и целуй мощи для бога», «отрекись от себя, убей свою плоть, люби врагов, отдай имение нищим – для бога», т. е. делай наилучшее из того, что ты понимаешь

таким для бога, т. е. для непостижимого. Это общий ответ на то, что надо делать, но раньше, кроме того, дают и ответы на то, как надо делать, и дают ответы неразумные, но самые понятные и доступные для самых низших существ (доступные для обезьян), ответы в примерах, в которых выражено, как убивать жертву, как идти в Мекку, в каком платье, что есть.

Во всякой религии есть ряд последователей главного примера учителя, и нужно только подражать им.

4) Таковы ответы верований, глядя на них независимо от своего личного отношения к вере. Человек чувствует опасность и ищет спасения, и вера примером, действием и словом дает ему средство спасения. Для дикого человеческая жертва есть спасение от опасности этой жизни, грома, пожара, войны, для некоторых и спасение от гневного бога после смерти. Для буддистов спасение в отречении от жизни. Для магометан, христиан это тоже спасение от смерти.

Вот тут-то как естественно и разумно, кажется, сказать: если для дикого убийство представляется истиной, для буддиста – аскетизм, для христианина – самопожертвование, то так как истина одна, то очевидно, что вера не имеет истины, а потому ложна. Но вера ищет не внешней истины, а спасения, и различные формы спасения не исключают единства содержания.

Единство в том, что каждый ищет спасения и находит его только в отречении от себя.

5) Каждого человека лично вера, какая бы она ни была,

вполне удовлетворяет, не проявляя никакого противоречия. Если она являет противоречие, он изменяет ее. Дикий, пока не знает ничего противного идолу, отрицается своею волею, спасается идолом. Но если магометанин сказал ему о божестве, невидимом творце, он оставляет его, и нет противоречия. Я – христианин и откинул противоречия икон, и не могу себе представить средством спасения христианского, так как не знаю и не могу себе представить другого высшего начала, подобного началу отречения себя и любви».

И недовольный той случайной формой, в которой вылились эти мысли, Л. Н-ч приписывает в конце: «все это очень плохо». Затем следуют краткие заметки, конспекты будущих рассуждений:

«1) Страх божий есть начало премудрости. В чем выражается этот страх? Гром, смерть, пророки.

2) Вера выражается и передается не словом, а делом, примером. То были патриархи, потом Христос.

3) Что есть вера? Людское или божественное? Если людское, то неразумное. Людское, но жизнью всей и смертью по отношению к богу. Так как же его назвать, как не божественным, если не божеским?

4) Вера, включающая в себя все (известные) веры, без противоречия, – божественна, истинна, сколько может быть что-либо истинно. Чувства личные и верования не истинны, но одно верование, включающее все, одно истинно. Господи, даруй мне его и дай мне помочь другим познать его».

На следующий день Л. Н-ч делает философскую запись, представляющую интересный критический взгляд на материализм:

«3-го июня. Материалисты совершенно правы, говоря, что каждая моя мысль есть последствие воздействия на меня материальных частиц. Так же они правы, говоря это о каждом моем чувстве, даже говоря то же о каждом моем желании – они правы. Пускай сознание свободы моей – заблуждение. Но что же они говорят этим? То, что волос не спадет с головы и что ничто – ни мысли, ни чувства, ни желания не могут возникнуть без воли бога. Что все происходящее происходит в пределах этой воли и что воля эта разумна, и непостижима. Они говорят то самое, что говорят христиане. Они говорят, что мысль, чувство, желание не беспричинно, бессмысленно возникает, но по строгому, мудрому закону. Закон же самый только с одной, ничтожнейшей стороны представляется смутно доступным постигновению, т. е. в самом высшем развитии своем наука дошла до догадки о том, что все совершается по мудрому закону.

Всякий серьезный мыслящий материалист должен признать: 1) что переход в действие материи, ощущения – в мысль, чувство и желание не только непонятно, но тем становится таинственнее, чем дальше идет изучение по этому пути, что ясное знание этого перехода никогда не может быть приобретено человеком, что все изучение на этом пути приводит только к убеждению, что мысли, чувства и желания

находятся в зависимости от ощущения, но что зависимость эта неизвестна, т. е. что они не случайны, но непостижимы, т. е. что они находятся в премудрой власти божией;

и 2) то, что если даже зависимость мыслей, чувств и желаний от ощущений была бы ясно определена, если бы было доказано, что сознание есть только цвет организма (и доказано, что организм есть необходимая форма жизни). Одним словом, признавая все то, что признают самые крайние материалисты, всякий мыслящий материалист должен сознаться, что те материальные причины воздействия на человека, производящие его мысли, чувства и желания, взяты слишком тесно, что всякая материальная причина имеет по самому свойству своему в основе другую причину, раздвояющуюся в пространстве и времени. И всякая другая причина имеет в основе третью и т. д. до бесконечности, и что поэтому отыскивать зависимость или причины на этом пути не только ведет далеко, но по самому свойству своему, очевидно, невозможно. Чтобы объяснить то, что я пишу теперь, необходимо показать, что ряд впечатлений и ощущений произвел во мне мысли, которые я излагаю, то чувство волнения, которое испытываю, и то желание писать, которое я привожу в исполнение. Положим, что все ощущения были бы найдены и указаны. Но невольно следует другой ряд вопросов, что произвело эти ощущения?

Что образовало мою личность, мои природные способности? И очевидно, что, восходя от причины к причине, я

дохожу до вертящегося куска в пространстве. Но вертящийся кусок точно так же, как и рефлекс, требует своего объяснения. И очевидно, что я тотчас же утыкаюсь в бесконечность безразличного пространства и времени и в беспричинную причину, т. е. прихожу к признанию вездесущего, вечного, беспричинного бога.

Заблуждение материалистов в первом случае, когда они хотят и надеются изучением нервов и мозга показать переход ощущения в мысль, чувство и волю, зиждется на введении величины бесконечно малого в уравнение. Они надеются, что микроскопическое изучение откроет им истину. То же, что не откроет, то предполагается бесконечно малым.

Во втором случае, объясняя все причины, они говорят о бесконечно великих периодах времени. Искренний, мыслящий и не упрямый материалист должен признать, что он, расходясь с учением идеалистов, утверждающих, что есть один дух, ни на волос не расходится с учением религии и только подтверждает то, что говорит религия: что мы все находимся во власти божией, что волос не спадет и чувство не придет без воли божией, и что воля бога непостижимая и мудрая. Непостижимость ее очевиднее для ученого, мыслящего материалиста, чем для неученого, ибо, исследуя путь своего изыскания, материалист не может не видеть невозможность постигновения всего, так как перед ним всегда открыта бесконечность. Мудрость этой воли он знает не по догадке и инстинкту, только как видит неученый, но по той ра-

зумной зависимости, которую он находит в той, хотя и бесконечно малой, но все-таки определенной области, которую он мог исследовать.

Самое же присутствие этой воли он не может не признавать, ибо она одна есть цель его изысканий – причина».

Через день в той же книжке Л. Н-ч набрасывает поэтическую картинку летней природы:

«5 июня. Жаркий полдень, 2-й час. Иду по высокому жирному лугу. Тихо, запах сладкий и душистый – зверобой, каша – стоит и дурманит. К лесу в лощине еще выше трава и тот же дурман; на дорожках лесных запах теплицы.

Кленовые листья огромные. Пчела на срубленном лесе обирает мед по очереди с куртины желтых цветов. С 13-го не задумавшись зажуужала и полетела – полна.

Жар на дороге, пыль горячая и деготь».

В том же году Л. Н-ч пишет, между прочим, Страхову:

«Встретился Москве с Бакуниным. Он пишет сочинение о знании и вере. У меня живет учителем математики кандидат петербургского университета, проживший два года в Канзасе, в Америке, в русских колониях коммунистов. Благодаря ему, я познакомился с тремя лучшими представителями крайних социалистов, тех самых, которых теперь судят. Ну и эти люди пришли к необходимости остановиться в преобразовательной деятельности и прежде поискать религиозные основы. Со всех сторон (не вспомню теперь, кто) все умы обращаются на то самое, что мне не дает покоя».

Приводим здесь краткий рассказ этого самого учителя математики, Василия Ивановича Алексеева, поступившего в 1877 году ко Л. Н-чу в дом в качестве учителя к его старшему сыну Сергею, – рассказ, записанный нами с его слов.

«Я был в кружке Чайковского книгоношей, набирал умных книжек, вроде Спенсера, Льюиса, Милля, и распространял их между студентами, рабочими, комментировал и вообще мирно просвещал свой круг знакомых. Эта деятельность, однако, нас не удовлетворяла; с другой стороны, полиция не давала нам делать наше дело свободно, мы жаждали более широкого приложения наших сил. Мы думали, что если мы освободимся от всяких внешних препятствий, то тотчас и сотворим новую жизнь. С этими мыслями мы отправились в Америку, в Канзас, основали земледельческую интеллигентную общину и вскоре увидали, что препятствием к свободной жизни были не внешние условия, а наши собственные недостатки. Колония распалась, и мы вернулись в Россию. Я буквально голодал. Через каких-то знакомых мне предложили место учителя у графа Толстого. Я так испугался графского титула, что сначала наотрез отказался. Но меня уговорили. Я отправился в Ясную Поляну и поместился на деревне, в избе одного из дворовых, и приходил в дом Л. Н-ча для занятий. Потом я переехал уже во флигель, в самую усадьбу. С первых же дней приветливость Л. Н-ча победила во мне всякий страх, и между нами установились самые дружеские отношения. Я застал Л. Н-ча в периоде искреннего право-

славия. Я же был тогда атеистом, и тоже откровенным и искренним. Как мне казалось, одним из главных мотивов этого православия было народничество Л. Н-ча, желание участвовать в народной жизни, изучать, понимать ее и помогать ей. Тем не менее в беседах со Л. Н-чем я нередко выражал ему мое удивление, как он со своим развитием, пониманием и искренностью мог посещать церковь, молиться, соблюдать обряды. Помню, как один из таких разговоров происходил в гостиной яснополянского дома в один ясный морозный день. Л. Н-ч сидел против окна, замерзшего и пропускавшего сквозь узоры мороза косые лучи заходящего солнца. Выслушав меня, Л. Н-ч сказал: «Вот посмотрите на эти узоры, освещенные солнцем. Мы видим только изображение солнца на этих узорах, но знаем вместе с тем, что за этими узорами есть где-то далекое, настоящее солнце, источник того света, который и производит видимую нами картину. Народ в религии видит только это изображение, а я смотрю дальше и вижу, или, по крайней мере, знаю, что есть самый источник света. И эта разница нашего отношения не мешает нашему общению: мы оба смотрим на это изображение солнца, только разум наш до различной глубины проникает его».

Но я замечал, что время от времени в его душу закрадывалось чувство неудовлетворения. Раз, возвратясь из церкви, он, обращаясь ко мне, сказал: «Нет, не могу, тяжело; стою я между ними, слышу, как хлопают их пальцы по полушубку, когда они крестятся, и в то же самое время сдержанный ше-

пот баб и мужиков о самых обыденных предметах, не имеющих никакого отношения к службе. Разговор о хозяйстве мужиков, бабьи сплетни, передаваемые шепотом друг другу в самые торжественные минуты богослужения, показывают, что они совершенно бессознательно относятся к нему». Я, конечно, относился к совершавшемуся в нем процессу со всевозможнейшей деликатностью и только тогда, когда он спрашивал меня, откровенно выражал свое мнение.

Иногда у нас заводились разговоры и на экономические и социальные темы. У меня было евангелие, сохранившееся от времени пропаганды социализма в народе. В нем были подчеркнуты все места, касающиеся социальных вопросов, и я нередко указывал Л. Н-чу на эти места евангелия.

Постоянная внутренняя работа не давала Л. Н-чу покоя и, наконец, довела его до кризиса.

Помню один эпизод, бывший проявлением этой внутренней душевной борьбы. Будучи православным, Л. Н-ч соблюдал посты. Графиня С. А. тоже соблюдала и заставляла есть постное и своих детей. Когда она стала замечать во Л. Н-че колебание, она усилила строгость поста, так что все в доме ели постное, кроме меня и гувернера француза Mr. Niefа. Я говорил графине, что хотя я и не соблюдаю постов, но могу есть все, что подают, но она всегда приказывала готовить нам, двум учителям, скоромное. И вот раз всем подали постное, а нам какие-то вкусные скоромные котлеты. Мы взяли, и лакей отставил блюдо на окно. Л. Н-ч., обращаясь к сыну,

сказал: «Ильюша, а дай-ка мне котлет». Сын подал, и Л. Н-ч с аппетитом съел скоромную котлету и с этих пор совсем перестал поститься».

По свидетельству самого Л. Н-ча, по приводимым ниже письмам его к В. И. Алексееву, мы можем смело утверждать, что В. И. имел сильное благотворное влияние на Л. Н-ча и, конечно, взаимно испытал такое же влияние на себе.

Летом 1878 года Л. Н-ч совершил снова со всей семьей поездку в Самарское имение.

Сначала он уехал со старшими детьми, мальчиками и гувернером, а потом туда поехала и Софья Андреевна с младшими детьми. С дороги Л. Н-ч писал С. А-не:

«...Но не забывай, однако, что, чтобы ты ни решила, оставаться или ехать, и чтобы ни случилось независящего от нас, я никогда, ни даже в мыслях, ни себя, ни тебя упрекать не буду. Во всем будет воля божия, кроме наших дурных или хороших поступков. Ты не сердись, как ты иногда досадуешь при моем упоминании о боге, я не могу этого не сказать, потому что это самая основа моей мысли.

Опять пишу вечером с того же парохода. Дети здоровы, спят и были милы. Десять часов вечера, и завтра в четыре часа, бог даст, будем в Самаре, а к вечеру на хуторе. День прошел также тихо, спокойно и приятно. Интересное было для меня беседа с раскольниками-беспоповцами Вятской губ., мужики, купцы очень простые, умные, приличные и серьез-

ные люди. Прекрасный был разговор о вере».

Зимой 1878-79 года Л. Н-ч, уже просвещенный верою, писал свою «Исповедь».

Вот как изображает его настроение того времени графиня С. А. в письмах к своей сестре:

8 ноября.

«...Левочка же теперь совсем ушел в свое писание. У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно не способен думать».

5 марта 1879 г.

«...Левочка читает, читает, читает... пишет очень мало, но иногда говорит: теперь уясняется, или: ах, если бог даст, то то, что я напишу, будет очень важно!»

Летом 1879 года Л. Н-ч ездил в Киев и посетил Киево-Печерскую лавру. В письмах к С. А., писанных с дороги, попадаются такие отзывы об этой поездке:

«13 июня. Киев очень притягивает меня.

14. Все утро до 3-х ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой. Не стоило того. В 7 час. пошел в лавру, к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного. Что даст бог завтра».

Но и завтра повторилось то же разочарование. Очевидно, поездка эта не удовлетворила его и, по всей вероятности, способствовала скорейшему отпадению его от православной церкви.

Как только Л. Н-ч круто повернул свою жизнь, или, вернее, стал по мере своих сил осуществлять те основы жизни, которые всегда жили в его душе, так его более слабые друзья стали отставать от него и смотреть на него уже издали. Одним из первых отстал Фет.

Л. Н-ч, не прерывая, конечно, дружеских сношений с ним, должен был уже объяснить ему значение своего поведения, которое, очевидно, удивляло Фета и не соответствовало его умеренной натуре.

Так, на одно из писем Фета в июле 1879 года Л. Н-ч отвечает так:

«Благодарю вас за ваше последнее хорошее письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и за аналог о соколе, который мне нравится, но который я желал более пояснить. Если я этот сокол и если, как выходит из последующего, залегание мое слишком далеко состоит в том, что я отрицаю реальную жизнь, то я должен оправдаться. Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимого для поддержания этой жизни, но мне кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетворениями не естественных, а искусственно привитых нам воспитанием и самими нами придуманных и перешедших в привычку потребностей, и что девять десятых труда, полагаемого нами на удовлетворение этих потребностей, – праздный труд. Мне бы очень хотелось быть твердо уверенным в том, что я даю людям больше того, что получаю от них; но так как я чувствую себя очень склонным к тому,

чтобы высоко ценить свой труд и низко ценить чужой, то я не надеюсь увериться в безобидности для других расчета со мной одним усилением труда и избранием тяжелейшего (я непременно уверю себя, что любимый мною труд есть самый нужный и трудный); я желал бы как можно меньше брать от других и как можно меньше трудиться для удовлетворения своих потребностей, и я думаю, так легче не ошибиться».

В следующем письме к Фету Л. Н-ч делится с ним впечатлениями от прочитанных книг, выражая это впечатление своим оригинальным, парадоксальным языком:

«Мне удалось вам рекомендовать чтение «1001-й ночи» и Паскаля: и то, и другое вам не то что понравилось, а пришлось по вас. Теперь имею предложить книгу, которую еще никто не читал, и я на днях прочел в первый раз и продолжаю читать и ахать от радости; надеюсь, что и эта придется вам по сердцу, тем более, что имеет много общего с Шопенгауэром: это Соломона Притчи, Экклезиаст и книга Премудрости, – новее этого трудно что-нибудь прочесть; но если будете читать, то читайте по-славянски. У меня есть новый русский перевод, но уж очень дурной. Английский тоже дурен. Если бы у вас был греческий, вы бы увидали, что это такое».

Летом того же года Л. Н-ча снова посетил Страхов; в письме к своему другу Н. Я. Данилевскому Страхов так изображает Л. Н-ча того времени:

«Толстого я нашел на этот раз в отличном духе. С какою живостью он увлекается своими мыслями! Так горячо ищут

истины только молодые люди, и могу положительно сказать, что он в самом расцвете своих сил. Всякие планы он оставил, ничего не пишет, но работает ужасно много. Однажды он повел меня с собою и показал, что он делает между прочим. Он выходит на шоссе (четверть версты от дома) и сейчас же находит на нем богомолки и богомольцев. С ними начинаются разговоры, и если попадутся хорошие экземпляры и сам он в духе, он выслушивает удивительные рассказы. В верстах в двух есть небольшие поселки, и там есть два постоянные двора для богомольцев (содержатся не для выгоды, а для спасения души). Мы зашли в один из них. Человек восемь разного народа, старики, бабы, и делают, что кому нужно: кто ужинает, кто богу молится, кто отдыхает. Кто-нибудь непременно спорит, рассказывает, толкует, и послушать очень любопытно. Толстого, кроме религиозности, которой он очень предан (он и посты соблюдает, и в церковь ходит по воскресениям), занимает еще язык. Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка, и каждый день делает открытия новых слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш литературный язык, называя его не русским, а испанским. Все это, я уверен, даст богатые плоды. Были мы с ним также на волостном суде, часа три слушали, и я вынес оттуда величайшее уважение к этому делу, тогда как из суда над Засулич вынес глубокое омерзение.

Главная тема мыслей Толстого, если не ошибаюсь, противоположность между старою Русью и новою, европейскою.

Он повторяет как новое много такого, что сказали славяно-филы, но он это так проживет и поймет, как никто».

В это время, несмотря на зародившееся уже сомнение в истине православия, Л. Н-ч до такой степени был предан ему, что даже в личном поведении своем признавал авторитет церковных лиц, и когда, почувствовав нездоровье, он хотел по совету врача перестать есть постное, то не решается этого сделать без разрешения церкви и идет к Троице и спрашивает там разрешение от поста у тамошнего старца Леонида.

Но это были уже последние попытки следования церковному учению.

30 сентября в записной книжке он уже набрасывает план будущего сочинения:

«Церковь, начиная с конца и до III века, – ряд лжи, жестокостей, обманов. В III веке скрывается что-то высокое. Да что же такое есть? Посмотрим Евангелие. Как мне быть? Вот вопрос души – один. Как были другие? Как? Заповеди?»

28 октября он делает следующую замечательную запись:
«Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные – Наполеон, пробивают страшные следы между людьми, делают сумятицу в людях, но все по земле. Есть люди, равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть легкие люди, воскрыленные, поднимающиеся легко от тесноты и опять спускающиеся – хорошие идеалисты. Есть с больши-

ми сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется со сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарю высоко. Помоги бог.

Есть с небесными крыльями, нарочно из любви к людям спускающиеся на землю (сложив крылья), и учат людей летать. И когда не нужно больше, улетят. Христос».

Через день он пишет:

30 октября.

«Проповедовать правительству, чтобы освободило веру, – все равно, что проповедовать мальчику, чтобы он не держал птицы, когда он будет посыпать ей соли на хвост.

1) Вера, пока она вера, не может быть подчинена власти по существу своему – птица живая та, которая летает.

2) Вера отрицает власть и правительство.....

И потому правительству нельзя не желать насиловать веру. Если не насиловать, птица улетит».

В этом году Л. Н-ч приходит к невозможности совместить требования своего разума и совести с церковным учением, а изучение богословия подтверждает ему это решение теоретически.

В ноябре 1879 года С. А. пишет своей сестре:

«...Левочка все работает, как он выражается: но – увы – он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы показать, как церковь

несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил, и чтобы прошло это, как болезнь.

Им владеть или предписывать ему умственную работу такую или другую никто в мире не может, даже он сам в этом не властен».

Жизнь рассудила иначе. Миллионы людей интересуются теперь тем, что тогда писал Л. Н-ч. И мы постараемся в следующей главе, в сжатом очерке, дать понятие о самой сущности этой гигантской работы.

Глава 16. Критическая работа

Л. Н-ч взял наиболее распространенное изложение православного богословия, а именно Макария, митрополита московского, выдержавшее уже много изданий и принятое за руководство в духовных училищах, даже переведенное на французский язык.

Это авторитетное изложение православных догматов Л. Н-ч подверг не так называемой научной критике, а критике простого, нравственного, здравого смысла и пришел к совершенно неожиданному заключению.

Вот как рассказывает он об этом в предисловии к своей книге «Критика догматического богословия»:

«Я был приведен к исследованию учения о вере православной церкви неизбежно. В единении с православной церковью я нашел спасение от отчаяния. Я был твердо убежден, что в учении этом единая истина, но многие и многие проявления этого учения, противные тем основным понятиям, которые я имел о боге и его законе, заставили меня обратиться к исследованию самого учения.

Я не предполагал еще, чтобы учение было ложное, я боялся предполагать это, ибо одна ложь в этом учении разрушала все учение. И тогда я терял ту главную точку опоры, которую я имел в церкви как носительнице истины, как источнике того знания смысла жизни, которого я искал в вере. И

я стал изучать книги, излагающие православное вероучение. Во всех этих сочинениях, несмотря на различие подробностей и некоторое различие в последовательности, учение одно и то же, одна и та же связь между частями, одна и та же основа.

Я прочел и изучил эти книги, и вот то чувство, которое я вынес из этого изучения: если бы я не был приведен жизнью к неизбежному признанию необходимости веры, если бы я не видел, что вера служит основой жизни всех людей, если бы в моем сердце это расшатанное жизнью чувство не укрепилось вновь и если бы основой моей веры было только доверие, если бы во мне была только та самая вера, о которой говорится в богословии (научены верить), – я бы, прочтя эти книги, не только стал бы безбожником, но сделался бы злейшим врагом всякой веры, потому что я нашел в этих учениях не только бессмысленность, но сознательную ложь людей, избравших веру средством для достижения каких-то своих целей.

Я понял, и отчего это учение там, где оно преподается, – в семинариях – производит наверное безбожников, понял и то странное чувство, которое я испытывал, читая эти книги. Я читал так называемые кощунственные сочинения Вольтера, Юма, но никогда я не испытывал того несомненного убеждения в полном безверии человека, как то, которое я испытывал относительно составителей катехизисов и богословия. Читая в этих сочинениях приводимые из апостолов и

так называемых отцов церкви те самые выражения, из которых слагается богословие, видишь, что это выражение людей верующих, слышишь голос сердца, несмотря на неловкость, грубость, иногда даже ложность выражений; когда же читаешь слова составителя, то ясно видишь, что оставителю и дела нет до сердечного смысла приводимого им выражения, он не пытается даже понимать его. Ему нужно только случайно попавшееся слово, для того чтобы прицепить к этим словам мысль апостола к выражению Моисея или нового отца церкви. Ему нужно только составить свод такой, при котором бы казалось, что все, написанное в так называемых священных книгах и у всех отцов церкви, написано только затем, чтобы оправдать символ веры. И я понял, наконец, что все это не только ложь, но обман людей неверующих, сложившийся веками и имеющий определенную и неизменную цель».

Мы приводим здесь несколько цитат, указывающих, с одной стороны, на характер критики, с другой стороны, дающих легкий намек на ту драму, которая происходила в душе Л. Н-ча во время этой работы.

Чтобы не быть заподозренным в предвзятом, отрицательном отношении к церкви, Л. Н-ч, приступая к рассмотрению догматов, говорит так:

«Я не говорю того, что я не верю в святость и непогрешимость церкви. Я даже в то время, как начал это исследование, вполне верил в нее, в одну ее (казалось мне) верил».

Но он приступил к учению церкви со слишком чистыми

требованиями. И она, торгующая в храме, конечно, не могла удовлетворить его.

Вот какую высокую задачу поставил он себе, начав исследование догматов:

«Я человек; бог и меня имеет в виду. Я ищущий спасения: как же я не приму того единого, чего ищущий всеми силами души. Я не могу не принять их, наверно их приму. Если единение мое с церковью закрепит их, тем лучше. Скажете мне истины так, как вы знаете их, скажете хоть так, как они сказаны в том символе веры, который мы все учили наизусть. Если вы боитесь, что по затемненности и слабости моего ума, по испорченности моего сердца я не пойму их, помогите мне (вы знаете эти истины божии, вы, церковь, учите нас), помогите моему слабому уму, но не забываете, что, что бы вы ни говорили, вы будете говорить все-таки разуму. Вы будете говорить истины божии, выраженные словами, а слова надо понимать опять-таки только умом. Разъясните эти истины моему уму, покажите мне тщету моих возражений, размягчите мое зачерствелое сердце неотразимым сочувствием и стремлением к добру и истине, которые я найду в вас, а не ловите меня словами, умышленным обманом, нарушающим святыню предмета, о котором вы говорите. Меня трогает молитва трех пустынников, про которых говорит народная легенда, они молились богу: «трое вас, трое нас, помилуй нас». Я знаю, что их понятие о боге неверно, но меня тянет к ним, хочется подражать им. Так хочется смеяться, глядя на смею-

щихся, и зевать, – на зевающих, потому что я чувствую всем сердцем, что они ищут бога и не видят ложности своего выражения. Но софизмы, умышленный обман, чтобы поймать в свою ловушку неосторожных и нетвердых разумом людей, отталкивают меня».

Углубляясь в исследование догматов, Л. Н-ч наталкивается на догмат о Троице. Возмущенный массой нагроможденных богословами софизмов и малопонятных молитвенных возгласов, приводимых в доказательство очевидной нелепости, что $1 = 3$, Л. Н-ч в таких горячих словах изливает свое протестующее чувство:

«Положим, утверждалось бы, что бог живет на Олимпе, что бог золотой, что бога нет, что богов 14, что бог имеет детей или сына. Все это странные, дикие утверждения, но с каждым из них связывается понятие: с тем же, что бог 1 и 3, никакого понятия не может быть связано. И потому, какой бы авторитет ни утверждал этого, не только все живые и мертвые патриархи александрийские и антиохийские, но если бы с неба неперестающий голос взывал ко мне: «я – один и три», я бы остался в том же положении не неверия (тут верить не во что), а недоумения, что значат эти слова и на каком языке, по каким законам могут они получить какой-нибудь смысл.

Для меня же, человека, воспитанного в духе веры христианской, удержавшего после всех заблуждений своей жизни смутное сознание того, что в ней истина; мне, ошибками

жизни и увлечениями ума дошедшему до отрицания жизни и ужаснейшего отчаяния; мне, нашедшему спасение в присоединении к духу той веры, которую я чувствовал единственной движущей человечество божественной силой; мне, отыскивающему наивысшее доступное мне выражение этой веры; мне, верующему прежде всего в бога, отца моего, того, по воле которого я существую, страдаю и мучительно ищущего откровения, – мне допустить, что эти бессмысленные, кощунственные слова суть единственный ответ, который я могу получить от моего отца на мою мольбу о том, как понять и любить его, – мне это невозможно.

Бог, тот непостижимый, тот, по воле которого я живу! Ты же вложил в меня это стремление познать себя и меня. Я заблуждался, я не там искал истины, где надо было. Я знал, что я заблуждался. Я потворствовал своим дурным страстям и знал, что они дурны, но я никогда не забывал тебя: я чувствовал тебя всегда и в минуты заблуждений моих. Я чуть было не погиб, потеряв тебя, но ты подал мне руку, я схватился за нее, и жизнь осветилась для меня. Ты спас меня, и я ищущий теперь одного, приблизиться к тебе, понять тебя, насколько это возможно мне. Помогите мне, научите меня. Я знаю, что я добр, что я люблю, хочу любить всех, хочу любить правду. Ты бог любви и правды, приблизь меня еще к себе, открой мне все, что я могу понять о тебе.

И бог благой, бог истины отвечает мне устами церкви: божество единица и троица есть. О преславного обращения».

Продолжая дальше свое исследование, Л. Н-ч дает интересный пересказ библейской истории грехопадения Адама:

«Связанный смысл всей этой истории по книге Бытия, – говорит он, – прямо противоположный церковному рассказу, будет такой: бог сделал человека, но хотел его оставить таким же, как животные, не знающим отличия доброго от злого, и потому запретил ему есть плоды древа познания добра и зла. При этом, чтобы напугать человека, бог обманул его, сказав, что он умрет, как скоро съест. Но человек с помощью мудрости (змия) отличил обман бога, познал добро и зло и не умер. Но бог испугался этого и загородил от него доступ к дереву жизни, к которому, по этому самому страху бога, чтобы человек не вкусил этого плода, можно и должно предполагать, по смыслу истории, что человек найдет доступ, как он нашел к познанию добра и зла.

Хороша ли, дурна ли эта история, но так она написана в Библии. Бог по отношению к человеку в этой истории есть тот же бог, как и Зевес по отношению к Прометею. Прометей похищает огонь, Адам – познание добра и зла. Бог этих первых глав есть не бог христианский, не бог даже пророков и Моисея, бог, любящий людей, но это – бог, ревнующий свою власть к людям, бог, боящийся людей. И вот эту-то историю про этого бога богословию понадобилось свести с догматом искупления, и потому бог, ревнивый и злой, сведен в одно с богом-отцом, которому учил Христос. Только это соображение дает какой-нибудь ключ к кошунству этой главы».

Затем он разбирает догмат божественности Христа.

И таким образом, исследуя один догмат за другим, он переходит к их полному отрицанию.

Заключение Л. Н-ча к его критике богословия резюмирует все учение православной церкви, как его понял Л. Н-ч при его исследовании. Пересказав его вкратце, он снова задает тот вопрос, который привел его к исследованию христианской веры и в частности церковно-православной:

«Какой смысл имеет жизнь в этом мире?»

Но церковное учение не дало ему ответа на этот вопрос.

Таким образом, разрыв Л. Н-ча с церковью явился неизбежным последствием произведенного им исследования церковного учения. И в противоположность этому отрицаемому им церковному учению Л. Н-ч в небольшом дополнении к заключению под вопросительным заглавием «Православная церковь?», высказывая свое возмущенное чувство по отношению к церковному обману, в таких кратких словах излагает свое понимание учения Христа в то время:

«Для того, кто понял учение Иисуса, оно в том только состоит, что мне, моему свету дано идти к свету, мне дана моя жизнь. И кроме нее и больше ее ничего нет, кроме источника всякой жизни – бога.

Все учение смирения, отречение от богатства, любовь к ближнему имеет только тот смысл, что я эту жизнь могу сделать жизнью в самой себе бесконечной. Всякое мое отношение к чужой жизни есть только вознесение моей, общение,

единение с нею в мире и в боге. Собою только я могу постигнуть истину, и мои дела суть последствия вознесения моей жизни.

Я могу сам собою выразить эту истину. Какой же для меня, понимающего так жизнь (а иначе я не понимаю ее), может быть вопрос о том, что другие думают, как другие живут? Любя их, я не могу не желать сообщить им мое счастье, но одно орудие, данное мне, – это сознание моей жизни и дела ее. Я не могу желать, думать, верить за другого. Я возношу свою жизнь, и это одно может вознести жизнь другого, да и другой – я же; так что, если я вознесу себя, я вознесу всех.

Я в них, и они во мне.

И что же будет, если не будет церкви?

Будет то, что есть и теперь, то, что сказал Иисус. Он сказал: сотворите добрые дела, чтобы люди, видя их, прославляли бога. И только это одно учение было и будет с тех пор, как стоял и будет стоять мир. В делах нет разногласия, а в исповедании, в понимании, во внешнем богопочитании если есть и будет разногласие, то оно не касается веры и дел и никому не мешает. Церковь хотела соединить эти исповедания и внешние богопочитания, а сама распалась на бесчисленное количество толков, и одно отвергло другое и тем показало, что ни исповедание, ни богопочитание не есть дело веры. Дело веры есть только жизнь по вере. И жизнь одна выше всего и не может быть подчинена ничему, кроме бога, познаваемого только жизнью».

Итак, Л. Н-ч расстался с православной церковью. Но ведь он был в ней только потому, что считал ее хранительницей учения Христа, в которое поверил и которому стал следовать в жизни. Где же оно? В церкви, при тщательном исследовании ее учения, Л. Н-ч нашел столько противоречий с главной основой Христова учения, что ему пришлось совсем откинуть церковное учение.

Но без учения Христа он жить не мог; мало того, ему хотелось подробнее, полнее изучить его, чтобы осветить им всю свою жизнь. Где искать его?

Все в той же, отрицаемой им, церкви, пронесшей через века и сохранившей нам каким-то непонятным чудом Евангелие, изложение учения Христа, сущность которого разрушает все церковное учение.

И Л. Н-ч принимается за усердное чтение Евангелия.

Это чтение вызвало в нем снова напряженную работу мысли и чувства, и результатом этой работы явилось замечательное произведение, названное им так: «Соединение и перевод 4-х Евангелий».

В предисловии к этому труду Л. Н-ч сам рассказывает о тех обстоятельствах его жизни, которые натолкнули его на этот труд. Мы приведем здесь существеннейшие места из этого предисловия.

«Приведенный разумом без веры к отчаянию и отрицанию жизни, я, оглянувшись на живущее человечество, убедился, что это отчаяние не есть общий удел людей, но что

люди жили и живут верою. Я видел вокруг себя людей, имеющих эту веру и из нее выводящих такой смысл жизни, который давал им силы спокойно и радостно жить и так же умирать. Я не могу разумом выяснить себе этого смысла. Я постарался устроить свою жизнь так, как жизнь верующих, постарался слиться с ними, исполнять все то же, что они исполняют в жизни и во внешнем богопочитании, думая, что этим путем мне откроется смысл жизни. Чем более я сближался с народом и жил так же, как он, и исполнял все те внешние обряды богопочитания, тем более я чувствовал две противоположно действовавшие на меня силы. С одной стороны, мне все более и более открывался удовлетворявший меня смысл жизни, не разрушаемый смертью, с другой стороны, я видел, что в том внешнем исповедании веры и богопочитания было много лжи. Я понимал, что народ может не видеть этой лжи по безграмотности, недосугу и неохоте думать, и что мне нельзя не видеть этой лжи и, раз увидав, нельзя закрыть на нее глаза, как это мне советовали верующие образованные люди. Чем дальше я продолжал жить, исполняя обязанности верующего, тем более эта ложь резала мне глаза и требовала исследования того, где в этом учении кончается ложь и начинается правда. То, что в христианском учении была сама истина жизни, в этом я уже не сомневался. Внутренний разлад мой дошел, наконец, до того, что я не мог уже умышленно закрывать глаза, как я делал это прежде, и должен был неизбежно рассмотреть то вероучение, которое

я хотел усвоить.

Каждая христианская церковь, – говорит он далее, – т. е. вероучение, несомненно происходит из учения самого Христа, но не оно одно происходит, от него происходят и все другие учения. Они все выросли из одного семени, и то, что соединяет их, что обще всем им, это – то, из чего они вышли, т. е. семья. И потому, чтобы понять истинно Христово учение, не нужно изучать его, как это делает единое вероучение, от ветвей к стволу; не нужно также и так же бесполезно, как это делает наука, история религий, изучать это учение, исходя от ствола к ветвям. Ни то, ни другое не даст смысла учения. Смысл дается только познанием того семени, того плода, из которого все они вышли и для которого они все живут. Все вышли из жизни и дел Христа, и все живут только для того, чтобы производить дела Христа, т. е. дела добра. И только в этих делах они все сойдутся.

Меня самого к вере привело отыскание смысла жизни, т. е. искание пути жизни – как жить. И увидав дела жизни людей, исповедовавших учение Христа, я прилепился к ним. Таких людей, исповедующих делами учение Христа, я одинаково и безразлично встречаю и между православными, и между раскольниками всяких сект, и между католиками, и между лютеранами, так что, очевидно, общий смысл жизни, даваемый учением Христа, почерпается не из вероучений, но из чего-то другого, общего всем вероучениям. Я наблюдал добрых людей не одного всем вероучения, а разных, и

во всех видел один и тот же смысл, основанный на учении Христа. Во всех тех разных сектах христиан я видел полное согласие в воззрении на то, что есть добро, что есть зло, и на то, как надо жить. И все эти люди это воззрение свое объявляли учением Христа. Вероучения разделились, основа их одна, стало быть, в том, что лежит в основе всех вер, есть одна истина. Вот эту-то истину я и хочу узнать теперь. Истина веры должна находиться не в определенных толкованиях откровений Христа, тех самых толкованиях, которые разделили христиан на 1000 сект, а должна находиться в самом первом откровении самого Христа. Откровение это самое первое – слово самого Христа – находится в Евангелиях. И потому я обратился к изучению Евангелия».

Для того, чтобы понять содержание писания, принадлежащего к вере христианской, надо прежде всего решить вопрос: какие из 27 книг, выдаваемых за св. писание, более или менее существенны, важны, и начать именно с более важных. Такие книги, несомненно, суть четыре Евангелия. Все предшествующие им, может быть, по большей мере только исторический материал для понимания Евангелия, все последующее – только объяснение этих же книг. И потому не нужно, как это делают церкви, неизбежно соглашать все книги (мы убедились, что это более всего привело церковь к проповедованию непонятных вещей), а отыскивать в этих 4-х книгах, излагающих, по учению же церкви, самое существенное откровение, отыскивать самые главные основы уче-

ния, не сообразуясь ни с каким учением других книг, и это не потому что я не хочу этого, а потому что я боюсь заблуждения других книг, которые имеют такой яркий и очевидный пример.

Отыскивать я буду в этих книгах: 1) то, что мне понятно, потому что непонятному никто не может верить, и знание непонятного равно незнанию; 2) то, что отвечает на мой вопрос о том, что такое я, что такое бог, и 3) какая главная единая основа всего откровения? И потому я буду читать непонятные, ясные и полупонятные места не так, как мне хочется, а так, чтобы они были наиболее согласны с местами вполне ясными и сводились бы к одной основе. Читая таким образом не раз, не два, а много раз как самое писание, как и писанное о нем, я пришел к тому выводу, что все предание христианское находится в 4-х Евангелиях, что книги Ветхого Завета могут служить только объяснением той формы, которую избрало учение Христа, могут лишь затемнить, но никак не объяснить смысл учения Христа, что послания Иоанна, Иакова суть вызванные особенностью случая частные разъяснения учения, что в них можно иногда найти с новой стороны выраженное учение Христа, но ничего нельзя найти нового. К несчастью же, весьма часто можно найти, особенно в посланиях Павла, такое выражение учения, которое может вовлекать читающих в недоразумения, затемняющие самое учение. Деяния же апостольские, как и многие послания Павла, часто не только не имеют ничего общего с

Евангелием и посланиями Иоанна, Петра и Иакова, но часто противоречат им. Апокалипсис прямо уже ничего не открывает. Главное же то, что как ни одновременно они написаны, Евангелие составляет изложение всего учения, все остальное же есть толкование их. Читал я по-гречески, на том языке, на котором оно есть у нас, и переводил так, как указывал смысл и лексиконы, изредка отступая от переводов, на новых языках существующих, составленных уже тогда, когда церковь своеобразно поняла и определила значение предания. Кроме перевода, я неизбежно был приведен к необходимости свести четыре Евангелия в одно, так как все они излагают, хотя и разноречиво, одни и те же события и одно и то же учение».

Мы уже упомянули в одной из предыдущих глав о том, что Л. Н-ч с увлечением изучал в начале 70-х годов греческий язык. Это знание как нельзя более пригодилось ему. А его исключительные филологические способности дали ему особую проницательность при переводе греческих текстов.

С полной серьезностью и с редким увлечением работал Л. Н-ч над изучением Евангелий. Он пользовался трудами самых лучших экзегетов того времени – Рейса, Гризбаха, Тишendorфа, сопоставляя их мнения с трудами православных исследователей: архимандрита Михаила, Грегулевича и др. Расположив евангельскую историю в хронологическом порядке, соединяя в одну связную систему всех четырех евангелистов, Л. Н-ч текст за текстом переводит, сличает, толкует, обобщает и находит связующий смысл. Все свое соеди-

нение Евангелий он разделяет на введение, двенадцать глав и заключение.

В конце каждой главы в свободном изложении он резюмирует содержание этой главы.

Центральным местом Евангелия в объяснении Л. Н-ча следует считать его изложение беседы с Никодимом «о новом рождении» и толкование притчи о сеятеле, где решается вопрос о том, что такое зло.

«Со словами «кончено» кончено и Евангелие», – так начинает Л. Н-ч свое заключение к этой книге, показывая тем, что все чудесное, а тем более чудо из чудес – воскресение, им опускается.

Истина евангельского учения, – говорит Л. Н-ч, – не нуждается в доказательствах.

Существование его 1800 лет среди миллиардов людей достаточно показывает нам его важность. Может быть, нужно было говорить, что лес посажен богом и чудовище его стережет, а бог защищает; может быть, это было нужно, когда леса не было, но теперь я живу в этом 1800-летнем лесу, когда он вырос и во все стороны окружает меня. Доказательств того, что он есть, мне не нужно: он есть. Так и оставим все то, что когда-то нужно было для произрастания этого леса – образования учения Христа».

Этот огромный труд был окончен около 1881 года.

Исследование Евангелий Л. Н-ча, как и большая часть его религиозно-философских произведений, не предназна-

чалось им самим для печати, он предоставлял это делать друзьям. Он сам говорит об этом в конце своей исповеди, излагая план своих религиозных сочинений:

«Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано».

Не встречая в семье своей сочувствия этому новому роду своих произведений, Л. Н-ч отложил написанную с большим трудом работу и принялся за дальнейшее изложение своих мыслей.

Но как «не может укрыться город, стоящий наверху горы», так не могло остаться в неизвестности и его великое произведение, и оно вскоре увидело свет.

Первое полное издание «Соединения и перевода 4-х Евангелий» было сделано нами в Женеве у Эльпидина на средства К. М. С.

Мы уже упоминали о присутствии в доме Льва Николаевича учителя В. И., со вниманием и любовью следившего за религиозным процессом, совершавшимся во Л. Н-че, отчасти кротко влиявшего на него и самого воспринимавшего на себя его могучее влияние.

В. И., прочитав работу над Евангелием, был поражен новым открывшимся ему смыслом учения Христа. Первым, непосредственным желанием В. И. было переписать себе это

удивительное произведение и увезти его с собой, чтобы поделиться этими новыми мыслями со своими друзьями, так как срок пребывания его в доме Л. Н-ча уже кончался. Но, сообразив размеры этого труда и остающееся ему время, В. И. решил, что он не может успеть переписать всего Евангелия, и тогда он решил списать только перевод самих евангельских текстов. Сделав эту работу, В. И. дал ее на просмотр Л. Н-чу, который снова прочел и проредактировал эти тексты и написал новое предисловие и заключение к этому списку. Таким образом появилось новое произведение Л. Н-ча под заглавием «Краткое изложение Евангелия», получившее едва ли не наибольшее распространение из всех его религиозных произведений и известное в читающей публике и в критике под именем «Евангелия Толстого».

В предисловии к этому краткому изложению Евангелия Л. Н-ч так определяет место этого произведения в ряду других религиозных сочинений:

«Это краткое изложение Евангелия есть извлечение из большого сочинения, которое лежит в рукописи и не может быть напечатано в России».

Сочинение состоит из 4-х частей:

1) Изложение того хода личной жизни и моих мыслей, которые привели меня к убеждению в том, что в христианском учении находится истина («Исповедь»).

2) Изложение христианского учения по толкованиям церкви вообще, апостолов, соборов и так называемых отцов

церкви и доказательства ложности этих толкований («Критика догматического богословия»).

3) Исследование христианского учения не по этим толкованиям, а только по тому, что дошло до нас из учения Христа, приписываемого ему и записанного в Евангелиях, перевод 4-х Евангелий и соединение их в одно («Соединение и перевод 4-х Евангелий»).

4) Изложение настоящего смысла христианского учения, причин, по которым оно было извращено, и последствий, которые должна иметь его проповедь («В чем моя вера»).

Это краткое изложение Евангелий есть сокращение третьей части. Все краткое изложение, подобно полному, разбито Л. Н-чем на 12 глав, хотя названия глав даны несколько иные, чем в полном изложении.

«Окончив свою работу, – говорит Л. Н-ч в предисловии, – я, к удивлению и радости своей, нашел, что так называемая молитва господня («Отче наш») есть ничто иное, как в самой сжатой форме выраженное все учение Иисуса в том самом порядке, в котором были расположены мною главы, и что каждое выражение молитвы соответствует смыслу и порядку глав:

Слова молитвы Название глав

- 1) Отче наш. Человек – сын бога.
- 2) Иже еси на небесех! Бог есть бесконечное духовное на-

чало жизни.

3) Да святится имя твое, Да будет свято это начало жизни.

4) Да придет царствие твое, Да осуществится его власть во всех людях.

5) Да будет воля твоя яко на небеси И да совершится воля этого бесконечного начала как в самом себе,

6) И на земли. Так и во плоти.

7) Хлеб наш насущный даждь нам Жизнь временная есть пища жизни истинной.

8) Днесь, Жизнь истинная в настоящем.

9) И остави нам долги наша, якоже И да не скрывают от нас этой истинной и мы оставляем должником нашим; жизни ошибки и заблуждения прошедшего.

10) И не введи нас во искушение, И да не вводят нас в обман.

11) Но избави нас от лукавого. И потому не будет зла.

12) Яко твое есть царство и сила и А будет твоя власть, и сила, и разум. слава.

В этом предисловии Л. Н-ч снова вкратце повторяет описание того пути, который его привел к изучению Евангелия и к признанию за ним полной истины.

И кончает его словами, в которых, обращаясь к читателю, с новою силою подчеркивает и объясняет значение своего труда:

«Дело не в том, чтобы доказать, что Иисус не был бог и

что потому учение его не божественное, и не в том, чтобы доказать, что он не был католиком, а в том, чтобы понять, в чем состояло то учение, которое было так высоко и дорого людям, что проповедника этого учения люди признали и признают богом. Вот это-то я пытался сделать, и для себя, по крайней мере, сделал это. И вот это-то я и предлагаю моим братьям.

Если читатель принадлежит к огромному большинству образованных, воспитанных в церковной вере людей, но отрекшихся от нее вследствие ее несообразностей со здравым смыслом и совестью (остались ли у такого человека любовь и уважение к духу христианского учения или он, по пословице: «осердясь на блох, и шубу в печь», считает все христианство вредным суеверием), я прошу такого читателя помнить, что то, что отталкивает его, и то, что представляется ему суеверием, не есть учение Христа, что Христос не может быть повинен в том безобразном предании, которое приплели к его учению и выдавали за христианство; надо изучать только одно учение Христа, как оно дошло до нас, т. е. те слова и действия, которые приписываются Христу и которые имеют учительное значение. Читая мое изложение, такой читатель убедится, что христианство не только не есть смешение высокого с низким, не только не есть суеверие, но есть самое строгое, чистое и полное метафизическое и этическое учение, выше которого не поднимался до сих пор разум человеческий и в кругу которого, не сознавая того, дви-

жется вся высшая человеческая деятельность: политическая, научная, поэтическая, философская. Если читатель принадлежит к тому ничтожному меньшинству образованных людей, которые держатся церковной веры, исповедуя ее не для внешних целей, а для внутреннего спокойствия, я прошу такого читателя, прежде чем читать, решить в душе вопрос о том, что ему дороже: душевное спокойствие или истина? Если спокойствие, то прошу его не читать, если же истина, то прошу его помнить, что учение Христа, изложенное здесь, несмотря на одинаковость названия, есть совершенно другое учение, и что поэтому отношение его, исповедующего церковную веру, к этому изложению есть то же, как отношение магометанина к проповеди христианства, что вопрос для него не в том, согласно ли или не согласно предлагаемое учение с его верою, а только в том, какое учение согласнее с его разумом и сердцем: его ли, церковное, учение или одно учение Христа. Вопрос для него только в том – хочет ли он принять новое учение или оставаться в своей вере. Если же читатель принадлежит к людям, внешне исповедующим церковную веру и дорожающим ею не потому, что они верят в истину ее, а по внешним соображениям, потому что они считают исповедание и проповедование ее выгодным для себя, то пусть такие люди помнят, что сколько бы у них ни было единомышленников, как бы сильны они ни были, на какие престолы ни садились, какими бы ни называли себя высокими именами, они не обвинители, а обвиняемые – не мною, а

Христом. Такие читатели пусть помнят, что им доказывать нечего, что они уже сказали, что имели сказать, что если бы даже они и доказали то, что доказывают каждые для себя, все сотни отрицающих друг друга исповеданий церковных вер, что им не доказывать нужно, а оправдываться. Оправдываться в кощунстве, по которому они учение Иисуса-бога приравнивали к учению Ездры, соборов, Феофилактов и позволили себе слова бога перетолковывать и изменять на основании слов люден. Оправдываться в клевете на бога, по которой они все те изуверства, которые были в их сердцах, свалили на бога-Иисуса и выдали их за его учение. Оправдываться в мошенничестве, по которому они, скрыв учение бога, пришедшего дать благо миру, подставили на его место свою «свято-духовскую» веру и эту подстановкою лишили и лишают миллиарды людей того блага, которое принес людям Христос, и вместо мира и любви, принесенных им, внесли в мир секты, осуждения и всевозможные злодейства, прикрывая их именем Христа.

Для этих читателей только два выхода: смиренное покаяние и отречение от своей лжи или гонение тех, которые обличают их за то, что они делали и делают.

Если они не отрекутся от лжи, им остается одно: гнать меня, на что я, оканчивая свое писание, готовлюсь с радостью и со страхом за свою слабость».

Н. Н. Страхов, внимательно следивший за всей работами Л. Н-ча, сообщает Н. Я. Данилевскому об этой работе сле-

дующее:

«Этой зимою он составил еще новое изложение евангельского учения (не самого Евангелия). Если будете здесь, то всем этим я вас угощу досыта, да и поспорю с вами, если вы вздумаете, по вашему обычаю, упорствовать».

В том же письме Страхов говорит о первых появившихся французских переводах религиозных произведений Л. Н-ча:

«...О Л. Н-че Толстом вот что знаю наверное. Его приятель, князь Урусов, ездил в Париж; он величайший поклонник новых мыслей Толстого и перевел для «Revue Nouvelle» «Исповедь», которая печаталась в «Русской мысли» и сожжена, и вступление к изложению Евангелия. Это вступление там напечатали, давши ему другое заглавие, вовсе не подходящее, а «Исповедь» считают ненужным печатать, так как поместили статью Циона «Un pessimiste russe», довольно неглупую. Вышел из всего неясный вздор. Все это сделано без всякого почина со стороны Толстого, но и препятствовать он не думает».

Свободное обращение Л. Н-ча с евангельскими текстами, очевидно, не нравилось этим расположенным к нему, но консервативным людям. В одном из следующих писем к Данилевскому Н. Н. Страхов пишет:

«...Я рассказал ему о нашем чтении его изложения, и что мы его бранили. Он согласился, что приведение стихов из Евангелия должно вводить в недоумение, и объяснил, что эта работа сделана им для себя, которую в этом виде не сле-

довало бы опубликовать. Сказал он при этом, что уже переведены по-английски три его сочинения: 1) «Исповедь», 2) «В чем моя вера?» и 3) «Изложение», но в «Изложении» оставлены только его введение, а измененный евангельский текст с ссылки на стихи откинут, очень это правильно сделано. По-немецки и по-французски «В чем моя вера?» давно вышла».

Это «Краткое изложение Евангелия» служило камнем преткновения для многих искренних друзей Л. Н-ча. Вот как относился к нему И. С. Аксаков.

Н. Н. Страхов пишет об этом Данилевскому 5 июля 1885 года:

«...В Москве я видел Аксакова в банке, и мы говорили, то есть он говорил все о том же, о «Кратком изложении Евангелия». – Увы! – Ник. Як., только с вами наслаждался я разговорами в настоящем смысле этого слова. Впрочем, я все еще не готов для свободной речи об этом предмете, и часто сам становился в тупик, когда пытался говорить о нем. Ну, словом, чем речистее был Аксаков, тем меньше толку вышло из нашего разговора.

...Главное, он выражает большой восторг от тех двух рассказов Л. Н-ча Толстого, которые я вам привозил, и говорит, что за них простил Толстому его «Изложение».

«В рассказах, – говорил Ив. Серг., – обнаруживается, что Л. Н-ч стоит к святой Истине в таких чистосердечных, любовных отношениях, тайна которых не подлежит нашему анализу и которые ставят его, автора, вне суда нашего. Оче-

видно, у него свой конто-курант с богом».

Окончив исследование Евангелия, извлеки из него существенные основы христианства, Л. Н-ч получил огромное удовлетворение своих стремлений, и его умственная и душевная деятельность направилась, с одной стороны, на изложение в положительном смысле своего мирозерцания и, с другой стороны, на проведение этого мирозерцания в свою личную жизнь. Оглянувшись вокруг себя, он ужаснулся перед той пропастью, которая отделяла усвоенные им и его окружающими формы жизни от того идеала, который предстал перед ним во всей своей ослепительной чистоте.

Общественная и политическая жизнь также поразила его резкими контрастами с тем учением, которое на словах исповедуется так называемым христианским обществом.

В России наступило смутное время, и гром грянул 1 марта 1881 года. Отношение Л. Н-ча ко всем этим явлениям составит содержание следующих глав.

Часть V. Обновленная жизнь

Глава 17. Событие 1 марта 1881 года

«Сегодня, 1 марта 1881 года, согласно постановлению Исполнительного комитета от 26 августа 1879 г., приведена в исполнение казнь Александра II двумя агентами Исполнительного комитета».

Такими словами начиналась прокламация Исполнительного комитета 1 марта 1881 года.

Смертная казнь как высшее, жесточайшее проявление насилия человека над человеком всегда была ненавистна Л. Нчу. Одна мысль о ней возбуждала в нем отвращение и ужас. Вспомним, как он описывает свое чувство при виде смертной казни в Париже, о которой несколько раз вспоминает в своих произведениях.

«Я не политический человек» – записывает он знаменательную фразу в своем дневнике 1857 года, после беспокойно проведенной ночи, во время которой воспоминание о виденной им утром гильотине не давало ему спать.

Он действительно никогда не был и до сих пор не стал «политическим человеком». Именно потому-то он и может с одинаковым беспристрастием и одинаковым обличением говорить о казнях, производимых обеими сторонами.

Но в 1881 году Л. Н-ч находился еще в исключительных обстоятельствах. Как видно из предыдущих глав, в нем только что закончится душевный кризис, и была им окончена большая, радостная для него работа над изучением Евангелия, в котором ему удалось схватить самую суть учения Христа, учение о любви, смирении и прощении, и сознание этого открывшегося ему света делало его особенно чувствительным к страданиям людей и ко всем отступлениям людей от божеских законов. Он смотрел на весь окружающий его мир с высоты Нагорной проповеди.

Находясь в таком настроении, конечно, он не мог сочувствовать казни, совершенной над Александром II. Но последующая за ней казнь убийц Александра II произвела на него несравненно сильнейшее впечатление.

Вот что писал Л. Н-ч в ответ на наш запрос по этому поводу:

«О том, как на меня подействовало 1-ое марта, не могу ничего сказать определенного, особенного. Но суд над убийцами и готовящаяся казнь произвели на меня одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Я не мог перестать думать о них, но не столько о них, сколько о тех, кто готовился участвовать в их убийстве, и особенно об Александре III. Мне так ясно было, какое радостное чувство он мог бы испытать, простив их. Я не мог верить, что их казнят, и вместе с тем боялся и мучился за их убийц. Помню, с этою мыслью я после обеда лег внизу на кожаный диван и неожиданно за-

дремал и во сне, в полусне, подумал о них и о готовящемся убийстве и почувствовал так ясно, как будто это все было наяву, что не их казнят, а меня, и казнят не Александр III с палачами и судьями, а я же и казню их, и я с кошмарным ужасом проснулся. И тут написал письмо».

Письмо было адресовано Александру III. Оно дошло до нас в первоначальном виде, о котором сам Л. Н-ч отзывается, что в этой редакции «письмо было гораздо лучше, потом я стал переделывать, и оно стало холоднее».

Мы приводим его целиком:

«Ваше императорское величество!

Я, ничтожный, не призванный и слабый, плохой человек, пишу русскому императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали. Я чувствую, как это странно, неприлично, дерзко, и все-таки пишу. Я думаю себе: ты напишешь, письмо твоё будет не нужно, его не прочтут или прочтут и найдут, что это вредно, и накажут тебя за это. Вот и все, что может быть. И дурного в этом для тебя не будет ничего такого, в чем бы ты раскаялся. Но если ты не напишешь и потом узнаешь, что никто не сказал царю то, что ты хотел сказать, и что царь потом, когда уже ничего нельзя будет переменить, подумает и скажет: «если бы тогда кто-нибудь сказал мне это», – если это случится так, то ты вечно будешь раскаиваться, что не написал того, что думал. И потому я пишу

вашему величеству то, что я думаю.

Я пишу из деревенской глуши, ничего верного не знаю. То, что знаю, знаю по газетам и слухам, и потому, может быть, пишу ненужные пустяки о том, чего вовсе нет, тогда, ради бога, простите мою самонадеянность и верьте, что я пишу не потому, что я высоко о себе думаю, а потому только, что, уже столь много виноватый перед всеми, боюсь быть еще виноватым, не сделав того, что мог и должен был сделать.

Я буду писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишут письма государю, — с цветами подобострастного и фальшивого красноречия, которые только затемняют и чувства, и мысли. Я буду писать просто, как человек к человеку.

Настоящие чувства моего уважения к вам, как к человеку и к царю, виднее будут без этих украшений.

Отца вашего, царя русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей: убили во имя какого-то блага всего человечества.

Вы стали на его место, а перед вами те враги, которые отравляли жизнь вашего отца и погубили его. Они враги ваши, потому что вы занимаете место вашего отца, и для того мнимого общего блага, которого они ищут, они должны желать убить и вас.

К этим людям в душе вашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца, и чувство ужаса перед тою обязанно-

стью, которую вы должны были взять на себя. Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного, потому что нельзя себе представить более сильного искушения зла. «Враги отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов, и убийцы отца. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы русскую землю, как не раздавить их, как мерзких гадов? Этого требует не мое личное чувство, даже не возмездие за смерть отца, этого требует от меня мой долг, этого ожидает от меня вся Россия».

В этом-то искушении и состоит весь ужас вашего положения. Кто бы мы ни были, цари или пастухи, мы люди, просвещенные учением Христа.

Я не говорю о ваших обязанностях царя. Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанности царя и должны сойтись с ними.

Бог не спросит вас об исполнении обязанности царя, не спросит об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей. Положение ваше ужасно, но только затем и нужно учение Христа, чтобы руководить нас в тех страшных минутах искушения, которые выпадают на долю людей. На вашу долю выпало ужаснейшее из искушений. Но как ни ужасно оно, учение Христа разрушает его: все сети искушений, обставленные вокруг вас, как прах разлетятся перед человеком, исполняющим волю бога.

Мф. 5, 43. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего и

возненавидь врага твоего; а я говорю вам: любите врагов ваших... благотворите ненавидящих вас... да будете сынами отца вашего небесного».

Мф. 5, 38. «Вам сказано: «Око за око, зуб за зуб, а я говорю: не противься злему».

Мф. 18, 22. «Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз.

Не ненавидь врага, а благотвори ему, не противься злу, не уставай прощать». Это сказано человеку, и всякий человек может исполнить это. И никакие царские, государственные соображения не могут нарушить заповедей этих.

Мф. 5, 19. «И кто нарушит одну из сих малейших заповедей, малейшим наречется в царствии небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в царствии небесном».

Мф. 7, 24. «И так, всякого, кто слушает слова мои сии, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне (25). И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот: и он не упал, потому что основан был на камне (26). А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке (27). И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое».

Знаю я, как далек тот мир, в котором мы живем, от тех божеских истин, которые выражены в учении Христа и которые живут в нашем сердце. Но истина – истина, и она жи-

вет в нашем сердце и отзывается восторгом и желанием приблизиться к ней. Знаю я, что я, ничтожный, дрянной человек, в искушениях в 1000 раз слабейших, чем те, которые обрушились на вас, отдавался не истине и добру, а искушению, и что дерзко и безумно мне, исполненному зла человеку, требовать от вас той силы духа, которая не имеет примеров, требовать, чтобы вы, русский царь, под давлением всех окружающих, и любящий сын, после убийства отца простил бы убийц и отдал бы им добро за зло: но не желать этого я не могу, не могу не видеть того, что всякий шаг ваш к прощению есть шаг к добру, всякий шаг к наказанию есть шаг ко злу, не видеть этого я не могу. Но как для себя, в спокойную минуту, когда нет искушения, надеюсь, желаю всеми силами души избрать путь любви и добра, так и за вас желаю и не могу не надеяться, что вы будете стремиться к тому, чтобы быть совершенными, как отец ваш на небе; и вы сделаете величайшее дело в мире – поборете искушение; и вы, царь, дадите миру величайший пример исполнения учения Христа – отдадите добро за зло.

Отдайте добро за зло, не противьтесь злу, всем простите. Это, и только это надо делать. Это воля бога. Достанет ли у кого или неостанет силы сделать это, это другой вопрос. Но только этого одного надо желать, к этому одному стремиться, это одно считать хорошим и знать, что все соображения против этого – искушения и соблазны, и что все они ни на чем не основаны, шатки и темны.

Но, кроме того, что всякий человек должен и не может ничем другим руководиться в своей жизни, как этим выражением воли божией, исполнение этих заповедей божьих есть вместе с тем и самое для жизни вашей (и вашего народа) разумное действие.

Истина и благо всегда истина и благо и на земле, и на небе.

Простить ужаснейших преступников против человеческих и божеских законов и воздать им добро за зло – многим это покажется в лучшем смысле идеализмом, безумием, а многим злонамеренностью. Они скажут; «не прощать, а вычистить надо гниль, задуть огонь». Но стоит вызвать тех, которые скажут это, на доказательства их мнения, и безумие, злонамеренность окажутся на их стороне.

Около 20 лет тому назад завелось какое-то гнездо людей, большего частью молодых, ненавидящих существующий порядок вещей и правительство. Люди эти представляют себе какой-то другой порядок вещей или даже никакого себе не представляют и всеми безбожными, бесчеловечными средствами – пожарами, грабежами, убийствами – разрушают существующий строй общества. 20 лет борются с этим гнездом, и до сих пор гнездо это не только не уничтожено, но оно растет, и люди эти дошли до ужаснейших по жестокости и дерзости поступков, нарушающих ход государственной жизни.

Те, которые хотели бороться с этой язвой внешними, наружными средствами, употребляли два рода средств: одно –

прямое отсечение больного, гнилого, строгость наказания, другое – предоставление болезни своему ходу, регулирование ее: это были либеральные меры, которые должны были удовлетворить беспокойные силы и утишить напор враждебных сил.

Для людей, смотрящих на дело с материальной стороны, нет других путей – или решительные меры пресечения, или либеральные послабления. Какие бы и где бы ни собирались люди толковать о том, что нужно делать в теперешних обстоятельствах, кто бы они ни были, знакомые в гостиной, члены совета, собрания представителей, если они будут говорить о том, что делать для пресечения зла, они не выйдут из этих двух воззрений на предмет: или пресекать – строгость, казни, ссылки, полиция, стеснения цензуры и т. п., или либеральные потачки – свобода, умеренная мягкость мер взысканий и даже представительство – конституция, собор.

Люди могут сказать много еще нового относительно подробностей того и другого образа действий; во многом многие из одного и того же лагеря будут не согласны, будут спорить, но ни те, ни другие не выйдут – одни из того, что они будут отыскивать средства насильственного пресечения зла, другие – из того, что они будут отыскивать средства нестеснения, давания хода затеявшемуся брожению. Одни будут лечить болезнь решительными средствами против самой болезни, другие будут лечить не болезнь, но будут стараться поставить организм в самые выгодные гигиенические усло-

вия, надеясь, что болезнь пройдет сама собою. Скажут много новых подробностей, но ничего не скажут нового, потому что та и другая мера уже были употреблены, и ни та, ни другая не только не излечили больного, но не оказали никакого влияния. Болезнь шла дальше, постоянно ухудшаясь. И потому я полагаю, что нельзя так сразу называть исполнение воли бога, по отношению к делам политическим, мечтанием и безумием. Если даже смотреть на исполнение закона бога, святыню святынь, как на средство против житейского мирского зла, и то нельзя смотреть на него презрительно после того, как, очевидно, вся житейская мудрость не помогла и не может помочь.

Больного лечили и сильными средствами, и переставали давать сильные средства, а давали ход его отправлениям: ни та, ни другая система не помогли, больной все больше. Представляется еще средство – средство, о котором ничего не знают врачи, средство странное. Отчего же не испытать его? Одно первое преимущество средство это имеет неотъемлемое перед другими средствами – это то, что те употреблялись бесполезно, а это никогда еще не употреблялось.

Пробовали во имя государственной необходимости блага масс стеснять, ссылать, казнить, пробовали во имя той же необходимости блага масс давать свободу – все было то же. Отчего не попробовать во имя бога исполнять только закон его, ни думая ни о государстве, ни о благе масс? Во имя бога и исполнения закона его не может быть зла.

Другое преимущество нового средства – и тоже несомненное – то, что те два средства сами в себе были нехороши: первое состояло в насилии, казнях (как бы справедливы они ни казались, каждый человек знает, что оно зло); второе состояло в не вполне правдивом допущении свободы. Правительство одной рукой давало эту свободу, другой – придерживало ее. Приложение обоих средств, как ни казались они полезны для государства, было нехорошее дело для тех, которые прилагали их. Новое же средство таково, что оно не только свойственно душе человека, но доставляет высшую радость и счастье для его души.

Прощение и воздаяние добром за зло есть добро в самом себе. И потому приложение двух старых средств должно быть противно душе христианской, должно оставлять по себе раскаяние, прощение же доставляет высшую радость тому, кто творит его.

Третье преимущество христианского прощения перед подавлением или искусным направлением вредных элементов относится к настоящей минуте и имеет особую важность. Положение ваше и России теперь – как положение больного во время кризиса. Один ложный шаг, прием средства ненужного, вредного может навсегда погубить больного. Точно так же теперь одно действие в том или другом смысле – возмездия за зло жестокими казнями или вызова представителей – может связать все будущее. Теперь, в эти две недели суда над преступниками и приговора, будет сделан шаг, который

выберет одну из трех дорог предстоящего распутья: путь подавления зла злом или путь либерального послабления – оба испытанные и ни к чему не приводящие пути, и еще новый путь – путь христианского исполнения воли божией царем как человеком.

Государь! По каким-то роковым, страшным недоразумениям в душе революционеров запала страшная ненависть против отца вашего, – ненависть, приведшая их к страшному убийству. Ненависть эта может быть похоронена с ним. Революционеры могли – хотя несправедливо – осуждать его за гибель десятков своих. На руках ваших нет крови. Вы – невинная жертва своего положения. Вы чисты и невинны перед собою и перед богом. Но вы стоите на распутье. Несколько дней, и если восторжествуют те, которые говорят и думают, что христианские истины только для разговоров, а в государственной жизни должна проливаться кровь и царствовать смерть, вы навеки выйдете из того блаженного состояния чистоты и жизни с богом и вступите на путь тьмы государственных необходимостей, оправдывающих все и даже нарушение закона бога для человека.

Не простите, казните преступников, вы сделаете то, что из числа сотен вы вырвете трех, четырех, и зло родит зло, и на место трех, четырех вырастут 30, 40, и сами навеки потеряете ту минуту, которая одна дороже всего века, – минуту, в которую вы могли бы исполнить волю бога и не исполнили ее, и сойдете навеки с того распутья, на котором вы могли

выбрать добро вместо зла, и навеки завяжете в делах зла, называемых государственной пользой (Мф. 5,25).

Простите, воздайте добро за зло, и из сотен злодеев десятки перейдут от дьявола к богу, и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту.

Государь! Если бы вы сделали это, позвали этих людей, дали бы им денег и услали их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест со словами вверху: «а я говорю: любите врагов своих», не знаю, как другие, но я, плохой верно-подданный, был бы собакой, рабом вашим. Я бы плакал от умиления, как я теперь плачу всякий раз, когда бы я слышал ваше имя. Да что я говорю: «не знаю, что другие»! Знаю, каким бы потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слов.

Истины Христовы живы в сердцах людей, и одни они живы, и любим мы людей только во имя этих истин.

И вы, царь, провозгласили бы не словом, а делом эту истину. Но, может быть, это все мечтание, ничего этого нельзя сделать. Может быть, что хотя и правда, что 1) более вероятности в успехе от таких действия, никогда еще не испытанных, чем от тех, которые пробовали и которые оказались негодными, и что 2) такое действие наверно хорошо для человека, который совершит его, и 3) что теперь вы стоите на распутье, и это единственный момент, когда вы можете поступить по-божьи, и что упустив этот момент, вы уже не вер-

нете его, – может быть, что все это и правда, но скажут: «это невозможно; если сделать это, то погубишь государство».

Но, положим, что люди привыкли думать, что божественные истины – истины только духовного мира, а не приложимы к житейскому; положим, что враги скажут: мы не принимаем ваше средство, потому что оно и не испытано, и само по себе не вредно, и правда, что теперь кризис, мы знаем, что оно сюда не идет и ничего, кроме вреда, сделать не может. Они скажут: христианское прощение и воздаяние добром за зло хорошо для каждого человека, а не для государства. Приложение этих истин к управлению государством погубит государство.

Государь! ведь это ложь, злейшая, коварнейшая ложь. Исполнение закона бога погубит людей? Если это закон бога для людей, то он всегда и везде закон бога, и нет другого закона, воли его. И нет кощунственнее речи, как сказать: закон бога не годится. Тогда он не закон бога. Но положим, мы забудем, что закон бога выше всех других законов и всегда приложим, мы забудем это. Хорошо: закон бога не приложим и если исполнить его, то выйдет зло еще хуже. Если простить преступников, выпустить всех из заключений и ссылок, то произойдет худшее зло. Да почему же это так? Кто сказал это? Чем вы докажете это? Своею трусостью, другого у вас нет доказательства. И, кроме того, вы не имеете права отрицать ничьего средства, так как всем известно, что ваши не годятся.

Они скажут: выпустить всех, и будет резня, потому что немного выпустить, то бывают малые беспорядки, много выпустить – бывают большие беспорядки. Они рассуждают так, говоря о революционерах как о каких-то бандитах, шайке, которая собралась, и когда ее переловить, то она кончится. Но дело совсем не так: не число важно, не то, чтобы уничтожить или выслать их побольше, а то, чтобы уничтожить их закваску, дать другую закваску. Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше.

Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода: чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала, включал бы в себя их идеал. Французы, англичане теперь борются с ними и также безуспешно.

Есть только один идеал, который можно противопоставить им, – тот, из которого они выходят, не понимая его и кощунствуя над ним, – тот, который включает их идеал, идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло. Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить вам, может уничтожить то зло, которое точит Россию. Как воск от лица огня, рас-

тает всякая революционная борьба перед царем-человеком, исполняющим закон Христа.

Лев Толстой».

Письмо это долго странствовало. Л. Н-чу пришло сначала на мысль передать письмо через Победоносцева. К этому его побудило воспоминание о добром отношении Победоносцева к одному замечательному человеку, временно бывшему близким по духу Л. Н-чу, именно к А. К. Маликову.

Л. Н-ч передал Победоносцеву письмо к царю через их общего знакомого Н. Н. Страхова, сопроводив это письмо своей личной просьбой об исполнении этого важного поручения.

И вот горячие слова любви о прощении ударились о холодную каменную стену духовного чиновника, уже истратившего на своей служебной карьере остатки человеческого чувства.

Победоносцев прочел письмо Л. Н-ча к Александру III и возвратил Страхову с отказом передать его. На письмо же Л. Н-ча к нему Победоносцев отвечал, через очень долгое время, уже после казни, следующим характерным письмом.

«Не взыщите, достопочтеннейший граф Лев Николаевич, во-первых, за то, что я оставил до сего времени без ответа письмо ваше, врученное мне Н. Н. Страховым. Это произошло не из неучтивости или равнодушия, а от невозможности

спознаться вскоре в той суеде и путанице мыслей и забот, которая одолевала и не перестает еще одолевать меня после 1 марта.

Во-вторых, не взыщите за то, что я уклонился от исполнения вашего поручения. В таком важном деле все должно делаться по вере. А прочитав письмо ваше, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос – не ваш Христос.

Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере и не мог исполнить ваше поручение.

Душевно уважающий и преданный вам *К. Победоносцев*». Петербург, 15 июня 1881 года.

Получив обратно письмо Л. Н-ча к царю, Н. Н. Страхов сделал еще попытку довести его до сведения государя и через профессора Константина Бестужева-Рюмина передал его великому князю Сергею Александровичу для передачи Александру III.

Л. Н-чу известно, что оно было передано царю, но о дальнейшей судьбе он ничего не знает.

Глава 18. Личная и семейная жизнь Льва Николаевича начала восьмидесятых годов

Л. Н-ч вступил в 80-е годы обновленный душою, с новым жизнепониманием, с новым взглядом на свой внутренний и на внешний, окружавший его мир. А мир этот оставался все тот же, и потому столкновение с ним стало неизбежно, и последующая жизнь Л. Н-ча представляет целый ряд этих столкновений; эпизодов борьбы с миром, часто победы над ним и иногда отступления; но он всегда с самообладанием переживает эти удары и возвращается в свое религиозное спокойствие духа, с течением времени все менее и менее нарушаемое.

Прежние друзья его, члены его семьи и многие общественные деятели не могли следовать за ним по пути его развития и продолжали относиться к нему с прежними интересами и требованиями и, видя равнодушие его или отрицательное отношение к ним, чувствовали боль, не находя участливого отзыва в любимом человеке, и, смотря по высоте их нравственного уровня, или внимательно прислушивались к новым тонам его души, или переносили на него свою горечь и обвиняли его в бессердечии, безразличии, квиетизме, а более легкомысленные и злонамеренные поднимали во-

прос о состоянии его психики и о том, не следует ли оградить общество от его вредного влияния?

Эта начертанная нами схема может дать ключ к пониманию многих событий из жизни Л. Н-ча и его окружающих в 80 годах и в последующее за ними время.

Тургенев был одним из тех, которые труднее многих других могли понять происшедшую перемену во Льве Николаевиче, и когда он узнал, что Л. Н-ч написал сочинение на религиозную тему, он так выразился, между прочим, в письме к Полонскому:

«Мне очень жаль Толстого, а впрочем, как говорят французы, «*Chacun a sa maniere tuer ses puces*».

И Тургенев продолжал заботливо (как старая нянька, как он сам называл себя) распространять художественные произведения Льва Николаевича.

В своем письме от 12 января 1880 г. Тургенев спешит сообщить Льву Николаевичу восторженный отзыв своего друга Флобера о его произведении:

«Любезнейший Л. Н-ч, переписываю для вас с дипломатической точностью отрывок из письма г. Флобера ко мне; я ему послал перевод «Войны и мира» (к сожалению, довольно бледноватый):

«*Merci de m'avoir fait lire le roman de Tolstoi. C'est de premier ordre! Quel peintre et quel psychologue! Les deux premiers volumes sont sublimes; mais le troisieme degringole*

affreusement. Il se repete! et il philosophe! Enfin on voit le monsieur, l'auteur, et le Russe, tandis que jusque là on n'avait vu que la Nature et l'Humanite. Il me semble qu'il y a parfois des choses a la Shakespeare! Je poussais des cris d'admiration pendant cette lecture... et elle est longue! – Oui, c'est fort, bien fort». Полагаю, что en somme вы будете довольны.

«Война и мир» роздана мною здесь всем главным критикам. Отдельной статьи еще не появлялось... но уже 300 экземпляров продано (всех прислано 500)».

Однако успех «Войны и мира» на французском языке далеко не оправдал ожидания. Слава Толстого во Франции создавалась постепенно и совершенно другими путями. Сам И. С. Тургенев подробно рассказал причины малого успеха «Войны и мира» в Париже на одном вечере в Петербурге, 4 марта того же 1880 года. Рассказ Тургенева был кем-то записан и напечатан в «Русской старине», откуда мы и заимствуем его.

«Вы спрашиваете, проник ли во французское общество и сделался ли ему известен роман гр. Льва Толстого «Война и мир».

Сочинение это, действительно, переведено и переведено вполне хорошо на французский язык одною личностью здешнего высшего круга, но оно напечатано, к сожалению, в небольшом количестве экземпляров. Переводчица обратилась к известному издателю в Париже Гашету, чтобы тот позволил поставить его издательскую фирму на этом издании.

Это сделано было, конечно, хорошо, но затем Гашет указал переводчице на необходимость, «с целью сделать успех изданию», распорядиться так, как обыкновенно распоряжаются во Франции с прочими книгами: экземпляров полтора надо разослать в разные газеты, журналы и обозрения и несколько десятков развезти более известным критикам, затем до 2 тысяч франков израсходовать на объявление на последней странице крупным шрифтом в более распространенных газетах и 40 % уступки сделать книгопродавцам-издателям. Все это самые обыкновенные приемы издательского дела во Франции, и только при выполнении их, при весьма точном выполнении, делается успех.

Переводчица романа «Война и мир» нашла для себя стеснительным принять все эти условия, и все ограничилось тем, что я экземпляров 30 развез более знакомым мне критикам и приятелям, участвующим в разных изданиях. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них целиком прочел это произведение нашего славного писателя.

Дело в том, что французы не могут ныне себе представить роман более одного тома, а роман «Война и мир» – представьте себе их ужас – в три или четыре тома.

Флобер, прочитав два тома «Войны и мира» и приступив к третьему, объявил мне, что он бросил, так как недоумевает, откуда явилась вся эта странная философия графа Льва Толстого. Тэн, человек весьма серьезный, труженик, имеющий большое количество работы у себя, конечно, года через

два, через три, пожалуй, и даст отзыв об этом романе, но вообще из них, французских писателей и публицистов, ни один с достаточным вниманием не прочитал да и не прочтет это превосходное сочинение».

Мы, со своей стороны, убеждены, что известность Л. Н-ча Толстого за границей создана не художественными его произведениями, а религиозно-философскими, что и надеемся показать в дальнейшем изложении.

В апреле 1880 года Тургенев приехал в Россию и написал Л. Н-чу из Москвы, что намерен посетить его в Ясной на Фоминой неделе. Кроме желания просто повидаться со Л. Н-чем, у Тургенева было важное дипломатическое поручение. В этом году литературная Россия праздновала открытие памятника Пушкину в Москве, и Тургенев, поклонник Пушкина, приехал ради этого торжества в Россию и принимал деятельное участие в его устройстве.

Зная отрицательное отношение Л. Н-ча ко всякого рода торжествам и юбилеям, комитет по устройству празднеств порешил обставить как-нибудь особенно приглашение его на открытие памятника Пушкину. И было предложено Тургеневу лично пригласить Льва Николаевича. Тургенев согласился, будучи убежден, что миссия его увенчается успехом.

Конечно, он был принят в Ясной Поляне с обычным радушием, его угощали охотой, и Иван Сергеевич не ожидал, что надежда его не оправдается.

Но Л. Н-ч наотрез отказался участвовать в торжестве.

Зная душевное состояние Л. Н-ча в то время, мы легко можем понять причину этого отказа.

Но Тургенева этот отказ так поразил, что, когда после Пушкинского праздника Ф. М. Достоевский собирался приехать из Москвы к Л. Н-чу и стал советоваться об этом с Тургеневым, тот изобразил настроение Л. Н-ча в таких красках, что Достоевский испугался и отложил исполнение своей заветной мечты. И другого случая посетить Л. Н-ча Достоевскому не представилось, а в следующем году его не стало.

В июле того же года Л. Н-ч писал, между прочим, Фету: «...Теперь лето, и прелестное лето, и я, как обыкновенно, ошалеваю от жизни и забываю свою работу. Нынешний год долго я боролся, но красота мира победила меня. И я радуюсь жизни и больше почти ничего не делаю».

Осенью его критическая работа возобновилась. В августе его посетил Н. Н. Страхов и так сообщает своему другу Данилевскому об этом посещении:

«...В Ясной Поляне, как всегда, идет сильнейшая умственная работа. Мы с вами, вероятно, не сойдемся в оценке этой работы, но я удивляюсь и покоряюсь ей, так что мне даже тяжело. Толстой, идя своим неизменным путем, пришел к религиозному настроению; оно отчасти выразилось в конце «Анны Карениной». Идеал христианина понят им удивительно, и странно, как мы проходим мимо Евангелия, не видя самого прямого его смысла. Он углубился в изучение

евангельского текста и многое объяснил в нем с поразительной простотой и тонкостью. Очень боюсь, что, по непривычке излагать отвлеченные мысли и вообще писать прозу, он не успеет изложить своих рассуждений кратко и ясно; но содержание книги, которую он составит, истинно великолепно».

В сентябре Л. Н-ч коротко извещает Фета:

«...Что ваш Шопенгауэр? (перевод). Я жду его с большим интересом. Я очень много работаю».

Серьезное религиозное настроение Л. Н-ча того времени не совпадало с настроением его семьи.

Зимой 3 февраля 1881 г. Соф. Андр. пишет своей сестре:

«...Левочка совсем заработался, голова все болит, а оторваться не может. Его и всех нас ужасно поразила смерть Достоевского. Только что стал так известен и всеми любим, как умер. Левочку это навело на мысль о его собственной смерти, и он стал как-то сосредоточеннее и молчаливее».

В тот же день Соф. Андр. пишет своему брату:

«...Если бы ты знал и слышал теперь Левочку. Он много изменился. Он стал христианин самый искренний и твердый. Но он поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был. Если бы ты теперь послушал его слова, вот когда влияние его было бы успокоительно твоей измученной душе».

Дневник Л. Н-ча того времени, или, вернее, записная книжка, наполнен беглыми заметками о разных посетителях Ясной Поляны, а также встречаемых им на своих прогулках странниках, богомольцах, просителях о разных нуждах со-

седних крестьян и изредка о посетителях круга его знакомых. Эти заметки перемежаются личными рассуждениями и мыслями Л. Н-ча, отзывами о газетных статьях. Вот образцы этих заметок.

1 мая. Солдат-старик из кантонистов, портной. «Бог привел двух расстрелять. – Значит, закон есть. Прежде засекали насмерть, а теперь нельзя. Такой закон нашли».

5 мая. Вчера разговор с В. И. о самарской жизни. Семья – это плоть. Бросить семью – это второе искушение – убить себя. Семья – одно тело. Но не поддавайся третьему искушению, служи не семье, но единому богу. Указатель того места на экономической лестнице, которое должен занимать человек. Она плоть, как для слабого желудка нужна легкая пища, для избалованной семьи нужно больше, чем для привычной к лишениям.

6 мая. Старик Рудаковский. Улыбающиеся глаза и беззубый милый рот. Поговорили о богатстве. Недаром пословица: «деньги – ад». Ходил спаситель с учениками. «Идите по дороге, придут кресты, налево не ходите, там ад»... Посмотреть, какой ад. Пошли. Куча золотая лежит. «Вот, сказал ад, а мы нашли клад». Пошли добывать подводу. Разошлись и думают: делить надо. Один нож отточил, другой пышку с ядом испек. Сошлись, один пырнул ножом – убил, у него пышка выскочила, – он съел, оба пропали.

10 мая. Был в Туле. В остроге 2-й месяц сидит 15 человек калужских мужиков за бесписьменность. Их бы надо пе-

реслать в Калугу и по местам. 2-й месяц не посылают под предлогом, что в калужском замке завозно.

15 мая. Острог. Пашет один весело. Смотритель на своей земле. Партию готовят. Бритые, в кандалах. Воробьевский, муж распутной жены. Старик 67 лет, злобный, «за поджог». Больной, чуть живой, хромой мальчик. За бесписьменность. 114 человек. «Костюм плох и высылают». Есть по 3 месяца. Есть развращенные, есть простые, милые. Старик слабый, вышел из больницы. Огромная вошь на щеке. – Ссылаемые обществами. Ни в чем не судимы два – ссылаются. Один по жалобе жены, на 1500 р. имения. Маленький, был в сумасшедшем доме, кривой, в припадках. При нас упал и стал биться. Высокий солдат, сидит 4 года. Год судился; на 1,5 года присужден, 1 г. 3 мес. набавка за то, что сказался мастеровым. Общество отказалось, и с тех пор ожидает партии 2 года. Каторжные двое, за драку и убийство. «Ни за что пропадаем». Плачет. Доброе лицо.

Вонь ужасная.

Вечером. Писарев и Самарин. Самарин с улыбочкой: «надо их вешать». Хотел смолчать и не знать его, хотел вытолкать в шею. Высказался. «Государство». Да мне все равно, в какие игрушки вы играете, только чтобы из игры зла не было.

21 мая. Спор. Таня, Сережа, Иван Михайлович. «Добро условное», т. е. нет добра. Одни инстинкты.

22 мая. Продолжение разговора об условности добра. Добро, про которое я говорю, есть то, которое считаешь хо-

рошим для себя и для всех.

24 мая. Ив. Ив. Рычагов, боцман – ранен в плечо в 29 году, в ногу, под Севастополем. Теперь хромает, 46 лет. Пошло их 15 партий из Тульской губернии по 500 человек, а вернулось 40 человек. Пороли на пушке, линьками по 500. На мачте в 35 сажен. Лестниц уж нет, ногу завернешь, а руками работаешь. Когда буря – нам отдых. Волна с колокольню. Туда уйдет – опять лезет, как таракан наверх. – Теперь ходил с товарищем. «Пойдем вместе, зайдем к брату». Зашли, а они голее его. Дала сестра рубаху, портки, холста. А он, как был в моей рубахе, так и пропал. Дал рубаху к брату идти. И еще другая рубаха пропала.

28 мая. Целый день Фет.

29 мая. Разговор с Фетом и женой. Христианское учение не исполнимо, так оно глупость? Нет, но не исполнимо. Да вы пробовали его исполнять? Нет, но не исполнимо.

8 июня. Ходил гулять. Плотники одоевские. Рассказ о переселении, имение Крассовского – Бобошино. Не хотел брать по 60 р. на двор. Согнали с 4-х волостей 700 мужиков с топорами, ломами, вилами. Велели ломать. – «Грех. – Что же делать? велят; не станешь – прибьют. Пускай прибьют, на них, а не на тебе грех будет. Бог велел терпеть. – Оно так. Я, положим, не ломал».

Расставили по слободам, принялись ломать. Кто крышу роет, стропила. Косяки, окна косят. Печи ломают. Мужики, человек 40, ушли на гору, смотрят. Старшина сам перевез.

Другие, как начали ломать, сами взялись, чтобы не дуром ломали. В одном доме баба только в ночь родила, да еще двойню. Оставили дом. Начальство было: 1) член, 2) исправник, 3) становой, 4) урядники. Пуще всех урядники, так и спуют – ломай. И старшина».

Мы видим из этих кратких выписок, какое разнообразие типов проходило перед глазами и перед душою Л. Н-ча. Вот где он черпал материал для свода бытовых картин.

Религиозные сомнения еще не улеглись в нем. Народная вера все еще привлекает его внимание, и он с увлечением изучает народ, ходит в остроги, на постоянные дворы, на волостные суды. Беседует подолгу с просителями, вникая в самые мельчайшие подробности их жизни и нужды. Многим из них он оказывает посильную нравственную и материальную помощь.

Одной из таких экспедиций для изучения народной жизни было новое путешествие в Оптину пустынь, совершенное пешком в сопровождении своего слуги, Сергея Петровича Арбузова, рассказавшего об этом в своих воспоминаниях. К сожалению, в его описании есть много неточностей, и потому мы можем привести оттуда только наиболее вероятные выдержки, пополняя эти сведения из других, более достоверных источников.

В простой одежде, в лаптях и с сумками за плечами вышли три странника 10 июня 1881 года из Ясной Поляны: Л. Н-ч, его слуга Сергей Петрович Арбузов и Дмитрий Федорович,

яснополянский учитель.

На другой день из Крапивны Л. Н-ч писал графине Соф. Андр.:

«Дошел хуже, чем я ожидал. Натер мозоли, поспал и здоровьем чувствую лучше, чем ожидал. Здесь купил чуни пенечные, и в них пойдется легче. Приятно, полезно и поучительно очень. Только бы дал бог нам свидеться здоровым всей семьей и чтобы не было дурного ни с тобой, ни со мной, а то я никак не буду раскаиваться, что пошел. Нельзя себе представить, до какой степени ново, важно и полезно для души (для взгляда на жизнь) увидеть, как живет мир божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе и из которого не выходим, хотя бы объехали вокруг света. Дмитрий Федорович (яснополянский учитель) идет со мной до Оптиной. Он тихий и услужливый человек. Ночевали мы в Селиванове у богатого мужика, бывшего старшины, арендатора. Из Одоева напишу и из Белева напишу. Я очень берегу себя и купил нынче винных ягод для желудка. Если бы ты видела вчера на ночлеге девочку Мишиных лет, ты бы влюбилась в нее: ничего не говорит и все понимает и на все улыбается, и никто за ней не смотрит. Главное, новое чувство – это сознавать себя и перед собою, и перед другими только тем, что я есмь, а не тем, что я – вместе со своей обстановкой. Нынче мужик в телеге обгоняет. «Дедушка, куда бог несет?» – «В Оптину». – «Что ж, там и жить останешься?» – И начинается разговор.

Только бы тебя не расстраивали и большие, и малые дети. Только бы гости не были неприятны, только бы сама была здорова, только бы ничего не случилось, только бы... я делал все хорошее и ты тоже, и тогда все будет хорошо».

Следующее письмо было уже 12 июня из села Мананки:

«Хотел писать из Одоева, но мы свернули на Мананки, отсюда я пишу теперь, от Владимира Акимыча. Он нас отлично принял. Я сейчас был у раскольников. Менее интересно, чем я думал. Шли мы очень хорошо. Здоровье мое совсем укрепилось. Сплю и днем, и ночью. Влад. Аким. настоял на том, чтобы подвезти нас. Я пишу, у него полна комната народа, и потому письмо нескладно и коротко. Припишу еще в Белеве, коли успею. Дай бог, чтобы было у вас все хорошо».

Описание пребывания Л. Н-ча в Оптиной пустыне мы заимствуем из рассказа С. П. Арбузова как единственное дошедшее до нас свидетельство и записанное с достаточной, по нашему мнению, достоверностью и с наивным юмором.

«Часов в шесть вечера пришли в Оптину пустынь. Звонил колокольчик на ужин; мы с котомками за плечами вошли в трапезную; нас не пустили в чистую столовую, а посадили ужинать с нищими. Я посматривал на графа, но он нисколько не гнушался своими соседями, кушал с удовольствием и пил квас, который ему очень понравился.

После ужина пошли на ночлег в гостиницу третьего класса. Монах, видя, что мы обуты в лапти, номера нам не дает, а посылает в общую ночлежную избу, где всякая грязь и на-

секомые.

– Батюшка, – говорю я монаху, – вот вам рубль, только дайте номер.

Он согласился и отвел нам номер, причем сказал, что нас будет трое, третий – сапожник из Волховского уезда. Я достал из котомки простыню и подушечку, приготовил графу постель на диване; сапожник лег на другом диване, а я для себя постелил постель на полу недалеко от графа. Сапожник вскоре заснул и сильно захрапел, так что граф вскочил с испуга и сказал мне:

– Сергей, разбуди этого человека и попроси его не храпеть.

Я подошел к дивану, разбудил сапожника и говорю:

– Голубчик, вы очень храпите, моего старичка пугаете: он боится, когда в одной комнате с ним человек спит и храпит.

– Что же, прикажешь мне из-за твоего старика всю ночь не спать?

Не знаю почему, но после этого он все-таки не храпел.

На другой день мы встали часов в десять, напились чаю. Я пошел к обедне, а граф – посмотреть, как монахи косят, пашут и как занимаются ремеслом. Одет он был в кафтан и лапти.

Вскоре откуда-то монахи узнали, что в стенах их обители находится гр. Лев Николаевич Толстой. Они от имени архимандрита и отца Амвросия начали разыскивать его. Случайно встретив меня, они спросили, кто со мной стоит в гости-

нице.

– А вам кого нужно?

– Графа Льва Николаевича.

– Я его человек.

Узнав от меня, во что он одет, они пошли разыскивать его, отыскали и просили к архимандриту и отцу Амвросию. Граф пришел в гостиницу третьего класса, где мы ночевали, и говорит мне:

– Сергей, коли меня узнали, делать нечего, дай мне сапоги и другую блузу, я переоденусь и тогда пойду к архимандриту и отцу Амвросию.

Но не успел граф переодеться, как приходят два монаха, чтобы взять вещи графа и просить его в первоклассную гостиницу, где все обито было бархатом. Граф долго отказывался идти туда, но под конец все-таки решился. Прежде чем пойти в первоклассную гостиницу, он пошел посетить отца архимандрита. Я ждал его недалеко от кельи о. архимандрита. Граф пробыл там часа два или три. О чем они разговаривали с о. архимандритом, я не знаю, но, вероятно, о монастырской жизни. По выходе из кельи о. архимандрита граф направился в скит к о. Амвросию. Я старался не выпускать Льва Николаевича из глаз, чтобы сказать ему, что после него я тоже пойду к о. Амвросию. Я видел шагов за 200, как Лев Николаевич вошел в его келью. Он пробыл там часа 4. Я же, подойдя к келье, остановился у крыльца и видел, что здесь ожидают увидеть о. Амвросия человек двадцать или трид-

цать. С некоторыми богомольцами я разговорился и спрашивал, сколько они здесь дней. Некоторые говорили, что они здесь дней пять или шесть, каждый день бывают в скиту у кельи о. Амвросия и не могут его видеть и получить благословение. Я спросил, почему же о. Амвросий не может их принять. Говорят, это происходит не от отца Амвросия, а что о них не докладывает келейник.

«Мы видим здесь богатых купцов, приезжих из Воронежа, Москвы, Петербурга, которые подойдут к келье, позвонят, келейник сейчас же отпирает дверь; они спрашивают, можно ли им видеть о. Амвросия. Келейник спрашивает их, кто они такие. Они отвечают, что они, например, только что приехавшие воронежские купцы. И келейник сейчас же просит их к о. Амвросию».

Я разговорился с одним человеком из Тулы, каким-то сыном диакона, окончившим пятый класс семинарии. На нем были худые сапоги и какая-то казинетовая поддевочка. Он говорил, что хочет просить у о. Амвросия помощи, так как не на что дойти до Тулы и купить сапоги. Я старался не упустить, когда выйдет Лев Николаевич, не решаясь звониться во время его беседы с о. Амвросием. Лев Николаевич вышел из кельи и, раздав милостыню всем подошедшим богомольцам и нищим, пошел по направлению к той гостинице, где ему был отведен номер. Я сейчас же позвонил в дверь кельи. Келейник спросил, что мне нужно. Я ответил ему, что пришел получить благословение от о. Амвросия.

– А вы кто будете?

– Человек графа Льва Николаевича Толстого.

Он доложил старцу, который меня сейчас же принял».

Сам Л. Н-ч вспоминал, как он подошел к книжной лавке и поинтересовался узнать, какой духовной пищей снабжают народ оптинские монахи. Он застал у прилавка старушку, которая спрашивала Евангелие. Монах отвечал, что у него есть гораздо лучше книжки, и подсовывал ей описание монастыря и чудеса угодников. Л. Н-ч вмешался в разговор, добыл Евангелие и отдал старухе.

От этого посещения пустыни Л. Н-ч вынес более отрицательных впечатлений, чем в первый раз. Беседа со старцем Амвросием его не удовлетворила. Старец, слышавший о его антицерковном направлении, убеждал его покаяться и подтверждал свои доводы текстом св. писания: «егда согресишь, повеждь церкви». Л. Н-ч возражал, что такого текста нет, а есть другой: «если брат твой согрешил тебе...» Старец стоял на своем, и Л. Н-ч вынул из кармана Евангелие, указал старцу его ошибку. Старец нимало не смутился и перевел разговор на другое.

Только старец Пимен, как и в первый раз, тронул Л. Н-ча своею простотою и наивною: он был действительно человеком не от мира сего. К нему также лезли богомольцы, прося благословения, и он, видимо, тяготился этим. Утром ему нужно было служить обедню. Воспользовавшись некоторым промежутком в притоке богомольцев, он стал собираться в

церковь. Но, выйдя из своей кельи, он заметил вновь приближавшуюся к его келье партию богомольцев, тогда старец подобрал полы своей рясы и бегом через сад бросился удирать от посетительниц.

Л. Н-ч после этого также вскоре собрался в обратный путь.

Возвращался Л. Н-ч другой дорогой, через Жиздру на Калугу, где сел на железную дорогу и доехал до Тулы, откуда уже на своих лошадях приехал домой.

В Ясной Поляне снова потекла прежняя жизнь.

21 июня он записывает в дневнике о своих гостях:

«Бестужевы, два брата. Профессор – испорченный наукой. Был добрый. Теперь профессор, чиновник, писатель-славянофил и воспоминание о человеке. Беседа о вере, об убийстве на войне. «Я не могу убить, но освободить народ может», т. е. сказать «пурдик» и потом логика необязательна.

Статья Хавэ поучительна. Ложная точка зрения Ренана доведена Хавэ-де-Лор до абсурда».

25 июня. «10 человек странников. Старик 68 лет, слепой, со старухой. Высокий, тонкий, живой. Похожа на слепого Болхина. Жалуется на мужиков – отняли землю, дом (чтобы похоронить его) и долю в проданном лесе. Рассказ про хохлов. От деревни до деревни 40, 30 и 20 верст обыкновенно. Через улицу кричат: «Заходи ночевать». Напоят, накормят и постелят. И на дорогу дадут. Продавать кусочки некому.

Наши набрали, слепые, да раздвинули коноплю и бросили. У нас нищеты страсть. Некому подавать. Я не продаю – сирот кормлю – не в похвальбу сказать. Даром отдавать – жалко. Продай. Не продаю, вчера не ели и нынче не ели и нынче дело к ужину. Плачет. Давай безмен. Денег не взял. Рассказ про хохла. Узнал, что я темный, снял Пантелеймона. На колена, сам плачет. Целуй. В глаза...»

26, 27 июня. «Очень много бедного народа. Я больнеше-нек. Не спал и не ел сухого 6 суток. Старался чувствовать себя счастливым. Трудно, но можно. Познал движение к этому».

28 июня. «С Сережей разговор, продолжение вчерашнего, о боге. Он и они думают, что сказать: я не знаю этого, это нельзя доказать, это мне не нужно, что это признак ума и образования. Тогда как это признак невежества. «Я не знаю никаких планет, ни оси, на которой вертится земля, ни эклиптика каких-то непонятных, не хочу это брать на веру, а вижу – ходит солнце, и звезды как-то ходят». Да ведь доказать вращение земли и путь ее, и нутацию, и предварение равноденствия очень трудно и остается еще много неясного и, главное, трудно вообразимого, но преимущество то, что все сведено к единству. Так же и в области нравственной и духовной – свести к единству вопросы: что делать, что знать, чего надеяться. Над сведением их к единству бьется все человечество. И вдруг разъединить все сведенное к единству представляется людям заслугой, которой они хвастаются. – Кто

виноват? Учили их старательно обрядам и закону божьему, зная вперед, что это не выдержит зрелости, учили множеству знаний, ничем не связанных. И остаются все без единства, с разрозненными знаниями и думают, что это приобретение.

Сереза признал, что он любит плотскую жизнь и верит в нее. Я рад ясной постановке вопроса.

Пошел к Константину. Он неделю болен, бок, кашель. Теперь разлилась желчь. Курносенков был в желчи. Кондратий умер желчью. Бедняки умирают желчью. От скуки умирают. У бабы грудница есть, три девочки есть, а хлеба нет. За ягодами пошли. Печь топлена, чтобы не пусто было и грудная не икала. Константин повез последнюю овцу.

Дома ждет Городенский, косой, больной мужик. Его довез сосед. Стоит на прищепке.

У нас обед огромный с шампанским. Тани наряжены. Пояса 5-рублевые на всех детях. Обедают, а уж телега едет на пикник, промежду мужицких телег, везущих измученных работой народ.

Пошел к ним, но ослабел».

На тех же днях получилось письмо от И. С. Тургенева, который писал:

«Любезнейший Л. Н-ч, надеюсь, что вы благополучно совершили ваше паломничество, и рассчитываю на исполнение вашего обещания навестить меня. Я неделю тому назад вернулся из Москвы, дом приведен в порядок, и я теперь никуда с места не тронусь. Не забудьте ваши сочинения.

Кланяюсь всем вашим и дружески жму вашу руку».

Вероятно, Л. Н-ч сейчас же ответил на это письмо согласием, так как через несколько дней получилось другое письмо от Тургенева такого содержания:

«Любезнейший Л. Н-ч, вчера получил ваше письмо и очень порадовался вашему близкому посещению, а также тому, что вы говорите о вашем чувстве ко мне. Оно потому и хорошо, что общее, т. е. одинаковое и в вас, и во мне. Надеюсь, что поездка графини будет удачная и что здоровье ваше скоро восстановится. Известите меня о дне и часе вашего прибытия в Мценск, чтобы выслать лошадей, и не забудьте привезти с собой обещанные сочинения. Жму вашу руку».

3 июля. Л. Н-ч записывает в дневнике:

«Я с болезнью не могу справиться. Слабость и лень и грусть. Необходима деятельность – цель – просвещение, исправление и соединение. Просвещение я могу направлять на других. Исправление – на себя. Соединение – с просвещенными и исправляющимися».

6 июля. «Разговор с К., В. И. и И. М. Революция экономическая не то, что может быть, а не может не быть. Удивительно, что ее нет».

9 июля, исполняя свое обещание, Л. Н-ч отправляется в Спасское к Тургеневу.

Заимствуем описание этого посещения из статьи П. А. Сергеенко: «Тургенев и Толстой».

«Получивши телеграмму о приезде Л. Н-ча Толстого, Тургенев заволновался. Он был необыкновенно гостеприимный хозяин, и приезд гостей всегда наполнял его душу молодым оживлением. Распорядившись о высылке лошадей на станцию Мценск, согласно полученной телеграмме, Тургенев и жившие в Спасском Полонские ждали автора «Войны и мира» на другой день. Но произошла ошибка.

Был поздний час ночи, и в доме уже все спали. Я. Полонский, писавший за своим столом, услышал на дворе лай собак, свист и чьи-то шаги.

«Я поглядел в окно, – рассказывает он, – но в безлунном мраке, с черными призраками чего-то похожего на кусты, ничего нельзя было разглядеть. Я опять сел писать и слышу, что кто-то мимо дома прошел по саду. Прислушиваюсь – топот лошади. Удивляюсь и недоумеваю. Затем в доме послышался чей-то неясный голос. Я подумал, это бредит кто-нибудь из детей моих. Иду в детскую – опять слышу голос, но уже явственный, и узнаю голос Ивана Сергеевича. Вижу – горит свеча, и какой-то мужик, в блузе, подпоясанный ремнем, седой и смуглый, рассчитывается с другим мужиком. Всмотриваюсь и не узнаю. Мужик поднимает голову, глядит на меня вопросительно и первый подает голос: «Это вы, Полонский?» Тут только я признал в нем графа Л. Н-ча Толстого».

Оказалось, что Л. Н-ч спутал дни, принял среду за четверг и послал телеграмму, которая вовсе не обязывала Ивана Сергеевича посылать за ним экипаж. Л. Н. Толстой по же-

лезной дороге приехал в Мценск, не нашел тургеневских лошадей и нанял ямщика свезти его в Спасское. Ямщик долго ночью плутал и только к часу ночи кое-как добрался до Спасского.

Тургенев тоже еще не ложился спать. Удивление и радость его были велики. Началась оживленная беседа и продолжалась до 3-х часов пополуночи.

Тургенев иногда до того волновался, что весь как бы наливался кровью. Особенно краснели у него уши и шея. Но Л. Н. Толстой на этот раз хотя и отстаивал свои взгляды с твердостью, но и в тоне его, и в манере держать себя было уже нечто новое для Я. Полонского, не встречавшегося с автором «Войны и мира» более 20 лет. Полонского поразила в Л. Толстом какая-то особенная мягкость и подкупающая простота в обращении.

«Я видел его, – говорил Полонский, – как бы перерожденным, проникнутым иною верою, иною любовью».

Л. Н. Толстой перед этим ходил пешком на богомолье в Оптину пустынь в крестьянском платье. И он много рассказывал в Спасском о своем путешествии. Был, между прочим, Л. Н-ч и у раскольников и видел одну раскольничью богородицу, причем в ее работнице нашел, к немалому своему удивлению, очень подвижную, грациозную и поэтическую девушку, бледно-худощавую, с маленькими белыми руками и тонкими пальцами.

«Никому из нас, – говорил Я. Полонский, – граф не навя-

зывал своего образа мыслей и спокойно выслушивал возражения Ивана Сергеевича. Одним словом, это был уже не тот граф, каким я когда-то в молодости знавал его».

В Спасском Л. Н. пробыл около двух суток.

После отъезда Л. Н. Толстого в Спасское приехала М. Г. Савина. И хотя Тургенев, как почитатель Савиной и как любезнейший из хозяев, охвачен был заботами о своей гостье, но образ Л. Н. Толстого, видимо, не рассеивался в его душе. Тургенев часто говорил о нем с кротким и любовным чувством, а как о писателе отзывался даже с восторженностью. Однажды он вышел к своим гостям с книгой в руке и мастерски прочел вслух из «Войны и мира», как мимо Багратиона шли в сражение с французами два батальона 6-го егерского полка.

«... Они еще не поравнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый, грузный шаг, отбиваемый в ногу массой людей...»

Тургенев дочитывал всю эту главу до конца с видимым увлечением иногда кончил, поднял голову и проговорил:

– Выше этого описания я ничего не знаю ни в одной из современных литератур. Вот это – описание. Вот как должно описывать...

Все согласились с ним. Но Тургенев все еще восторженно доказывал, как высокохудожественно это описание...»

Л. Н. в своем дневнике делает такую заметку о своем пре-

бывании у Тургенева:

9, 10 июля. «У Тургенева. Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писанием, не осуждающий и бедный – спокойный. Тургенев боится имени бога, а признает его. Но тоже наивно-спокойный. В роскоши и праздности жизни».

Поводом к поездке в самарское имение были хозяйственные дела. Но Л. Н-ч уже не мог заниматься ими со спокойной совестью. Он постоянно видел контраст богатства и бедности, праздности и труда. И, не будучи в состоянии отдалиться второму, он не мог с увлечением продолжать и первого, и томился, и искал исхода. Это настроение часто проглядывает в его заметках и письмах того времени. Напр.:

16 июля. «Ходил и ездил смотреть лошадей. Несносная забота. Праздность. Стыд».

17 июля. «Нынче хочу писать и работать».

2 августа. «Павловской бабы муж умер в остроге и сын от голода. Девочку отпоили молоком. Патровский бывший пастух, нищета. Белый и седой».

Разговор с А. А. о господах, тех, которые за землю стоят, и тех, которые за раздачу. Орлова-Давыдова крестьянин. По десятине на душу. На квас не хватает, а у него 49 тысяч десятин».

Графине С. А. он пишет 24 июля:

«...Ожидания дохода самые хорошие. Одно было бы грустно, если бы нельзя было помогать хоть немного, это то, что много бедных по деревням, и бедность робкая, сама себя

не знающая».

На это С. А. отвечала ему 30 июля:

«Хозяйство там пусть идет, как налажено, я не желаю ничего переменять. Будут убытки, но к ним уж не привыкать; будут большие выгоды, то деньги могут уйти и не достаться ни мне, ни детям, если их раздать. Во всяком случае ты знаешь мое мнение о помощи бедным: тысячи самарского и всякого бедного народонаселения не прокормишь, а если видишь и знаешь такого-то или такую-то, что они бедны, что нет хлеба или нет лошади, коровы, избы и пр., то дать все это надо сейчас же, удержаться нельзя, чтобы не дать, потому что жалко и потому что так надо».

По-видимому, взаимного понимания у них по этому вопросу не было.

Духовный интерес Л. Н-ча во время его пребывания в Самарской губернии удовлетворялся сближением с самарскими сектантами, молоканами, субботниками и другими.

20 июля он пишет графине С. А.:

«...Нынче я с Василием Ивановичем (воскресенье) провел целый день в Патровке, на молоканском собрании, обеде, и на волостном суде, и опять на молоканском собрании. В Патровке мы нашли Пругавина (он пишет о расколе). Очень интересный и степенный человек. Весь день провел очень интересно. На собрании была беседа о Евангелии. Есть умные люди и удивительные по своей смелости».

А в дневнике своем он делает такую заметку об этом дне:

20 июля. «Воскресенье. У молокан моление. Жара. Пла-
точком пот утирают. Сила голосов, шеи карие, корявые, как
терки. Поклоны. Обед: 1) холодное, 2) крапивные щи, 3) ба-
ранина вареная, 4) лапша, 5) орешки, 6) баранина жареная,
7) огурцы, 8) лапшинник, 9) мед.

Утром бедная женщина, грубая, плачет с ребенком, гав-
риловская.

Волостной суд. 1) Сапоги снял с татарина. 2) Молокан
ищет на работнике пшеницу.

«Я тебе туда затру», хохот. Присудили православные в
пользу молоканина. Староста пьяный. Магарычи губят. Мо-
локанская беседа. О пяти заповедях, «Спаси господи». Жи-
вое участие».

Молокане приезжали ко Льву Н-чу, и он о них записывает:

22 июля. «Молокане. Я читал свое. Горячо слушают. Тол-
кование 6-ой главы прекрасно. Чудо хананеянки: беснующая-
ся – заблудная. Истиной исцелял».

Об этом же он сообщает в письме к С. А. 24 июля:

«Интересны молокане в высшей степени. Был я у них
на молении, присутствовал при их толковании Евангелия и
принимал участие, и они приезжали и просили меня толко-
вать, как я понимаю; и я читал им отрывки из моего изложе-
ния; и серьезность, и интерес, и здравый, ясный смысл этих
полуграмотных людей – удивительны. Был я в Гаврилове у
субботника. Тоже очень интересно. Вообще впечатлений за
эту неделю даже слишком много».

В следующем письме он пишет С. А.:

«...Вчера был у меня старик пустынный, он живет в лесу по Бузулукской дороге. Он сам малоинтересен и приятен. Но интересен тем, что он был один из мужиков, которые 40 лет тому назад поселились в Бузулуке на горе и завели тот огромный монастырь, который мы видели. Я записал его историю».

В то же время Л. Н-ча берет забота о доме, о жене, о трудах, несомых ею в его отсутствие, и вот 24 июля он пишет ей нежное письмо:

«Ты нынче выезжаешь в Москву. Ты не поверишь, как меня мучает мысль о том, что ты через силу работаешь, и раскаяние в том, что я мало (вовсе) не помогал тебе.

Вот уже на это кумыс был хорош, чтобы заставить меня спуститься с той точки зрения, с которой я невольно, увлеченный своим делом, смотрел на все. Я теперь иначе смотрю. Я все то же думаю и чувствую, но я излечился от заблуждения, что другие люди могут и должны смотреть на все, как я. Я много перед тобой был виноват, душенька, бессознательно, невольно виноват, ты знаешь это, но виноват.

Оправдание мое в том, что для того, чтобы работать с таким напряжением, с каким я работал, и сделать что-нибудь, нужно забыть все. И я слишком забывал о тебе и каюсь. Ради бога и любви нашей как можно береги себя. Откладывай больше до моего приезда, я все сделаю с радостью и сделаю недурно, потому что буду стараться».

Еще интереснее следующее письмо 6 августа:

«...Хозяева наши так же неусыпно и естественно добры. Сейчас (утро) вошла Лиза. «Что ты?» – «А, вы тут? А я хотела подмести, убрать». А у них еще и нянька ушла, бросила их, и одна кухарка на все дела. Что ты пишешь в одном письме, что мне верно так хорошо в этой среде, что о доме и своем быте я буду думать с неудовольствием. Это как раз наоборот. Все больше и лучше думаю о вас. Ничто не может доказать яснее невозможности жизни по идеалу, как жизнь Бибикова с семьей и Василия Ивановича. Люди они прекрасные и всеми силами, всей энергией стремятся к самой лучшей, справедливой жизни, а жизнь и семья стремятся в свою сторону, и выходит среднее. Со стороны мне видно, как это среднее хотя и хорошо, как далеко от их цели. То же переносишь на себя и поучаешься довольствоваться средним. То же среднее в молоканстве, то же среднее в народной жизни, особенно здесь. Только бы бог донес нас благополучно ко всем вам благополучным, и ты увидишь, какой я в твоём смысле стану паинька».

А в Ясной между тем шла своя жизнь, как всегда, мешая горе с весельем.

Вот что пишет С. А. об одном странном посетителе:

«У нас живет какой-то казак чудной, приехавший из Старогладовской станицы, Федор, Епишкин племянник, ровесник тебе. Он приехал с Кавказа верхом, на рыжей лошади, в красном башлыке и меховой шапке, с медалями и ордена-

ми, седой, сухой и страшный болтун, ломается, рисуется и несимпатичный. Он говорит, что едет к государю проситься на службу в конвой. «Где одного нашего убили», как он выражается. «Хочу третьему царю служить, я двум служил». Он ходил к Алексею Степановичу, и у них шел оживленный разговор о разных кавказских воспоминаниях и общих знакомых.

Вчера ездили мы кататься и две Тани верхом, а казак в красном башлыке их кавалером, на своей лошади. Станный был *соур d'oeil*.

Лошадь смирная, ручная, как собака, и он на нее поочередно всех детей сажал».

Должно быть, Л. Н-ч остался в Самарской губ. дольше, чем думал, так как терпение С. А. истощилось, и в следующем письме ее ко Л. Н-чу от 6 августа слышится уже упрек.

Но вот С. А. узнает, что Л. Н-ч задумал новое художественное произведение, и тон письма становится нежный и радостный.

«Каким радостным чувством меня охватило вдруг, – пишет С. А., – когда я прочла, что ты хочешь писать опять в поэтическом роде.

Ты почувствовал то, чего я давно жду и желаю. Вот в чем спасенье, радость, вот на чем мы с тобой опять соединимся, что утешит тебя и осветит нашу жизнь. Эта работа настоящая, для нее ты создан и вне этой сферы нет мира твоей душе.

Я знаю, что насиловать ты себя не можешь, но дай бог тебе этот проблеск удержаться чтобы разрослась в тебе опять эта искра божия. Меня в восторг эта мысль приводит».

Получив предыдущее строгое письмо, Л. Н-ч немедленно выехал из самарского хутора, чтобы скорее вернуться в Ясную Поляну. Дорогой он, между прочим, записывает:

16 августа. «В Ряжске убит машиной. Каждый месяц – человек. Все машины к черту, если «человек».

17 августа он вернулся домой, и мечты его об участии в общей семейной жизни сразу разлетелись. Самарская жизнь всегда была дорога Л. Н-чу своей первобытной простотой, и, окунувшись в нее, снова испытал ее прелесть, Л. Н-ч еще сильнее почувствовал тот невыносимый ему тон праздности и роскоши, который охватывал порою Ясную Поляну. Там был в это время съезд гостей и готовился любительский спектакль. И в дневнике Л. Н-ча появляется мрачная запись:

18 августа. «Театр. Пустой народ. Из жизни вычеркнуты дни 19, 20, 21».

22 августа Л. Н-ча снова посетил Тургенев, который, увлекшись общим бесшабашным весельем собравшейся молодежи, к удивлению всех, протанцевал в зале парижский канкан.

В этот день в дневнике Л. Н-ча появилась краткая запись: «Тургенев – сапсан. Грустно.

Встреча народа на дороге радостная».

Все это время у Л. Н-ча было тяжело на душе. Семья его собиралась на зиму в город, и это очень беспокоило его, но противиться этому он не чувствовал в себе силы.

1 сентября он поехал в Пирогово к брату. 2-ого вернулся оттуда и пишет в дневнике:

«Умереть часто хочется. Работа не забирает».

В половине сентября 1881 года вся семья Толстого переехала в Москву и поселилась в Денежном переулке. Для Л. Н-ча это было большое испытание.

5 октября он пишет в своем дневнике:

«Прошел месяц. Самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Все устраиваются, когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так все люди. Несчастные. И нет жизни.

Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, и – пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях и ездят извозчиками».

Читатель, прочтя этот крик наболевшего сердца, быть может, спросит: как же относились к этому близкие, любящие его люди? Вот выписка из письма графини Софьи Андреевны, человека, несомненно, близкого и любящего его, к ее

сестре:

14 октября 1881 года, Москва.

«...Завтра месяц как мы тут, и я никому ни слова не писала. Первые две недели я ежедневно плакала, потому что Левочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам а la lettre плакал иногда, и я думала просто, что я с ума сойду. Ты бы удивилась, как я тогда изменилась и похудела. Потом он поехал в Тверскую губ., виделся там со старыми знакомыми, Бакуниными (дом либерально-художественно-земско-литературный), потом ездил там в деревню к какому-то раскольнику, христианину, и когда вернулся, тоска его стала меньше. Теперь он наладился заниматься во флигеле, где нанял себе две маленькие, тихие комнатки за 6 руб. в месяц, потом уходит на Девичье поле, переезжает реку на Воробьевы горы и там пилит и колет дрова с мужиками. Ему это здорово и весело».

Мы приводим здесь эти факты и эти документы, воздерживаясь от комментариев и от суда над людьми живущими, не считая себя вправе делать это и предоставляя это истории.

К этому же времени относится следующее замечательное письмо, написанное им своему другу В. И. Алексееву, оставшемуся в Самаре:

«Спасибо вам за хорошее письмо, дорогой В. П.! Мы как будто забываем, что любим друг друга. Я не хочу этого забы-

вать – не хочу забывать того, что я вам во многом обязан в том спокойствии и ясности моего мирозерцания, до которого я дошел. Я вас узнал, первого человека (тронутого образованием), не на словах, а в сердце исповедующего ту веру, которая стала ясным и непоколебимым для меня светом. Это заставило меня верить в возможность того, что смутно всегда шевелилось в душе. И поэтому вы как были, так и останетесь всегда дороги. Смущает меня неясность, непоследовательность вашей жизни, смущает ваше предпоследнее письмо, полное забот мирских, но я сам так недавно был переполнен ими и до сих пор так плох в своей жизни, что мне пора знать, как сложно переплетается жизнь с прошедшими соблазнами, и что дело не во внешних формулах, а в вере. И мне радостно думать, что у нас с вами вера одна.

О моих предположениях собирать долги и на эти деньги учредить что-нибудь для пользы людей должен сказать, что все это пустяки, даже хуже, чем пустяки, это – дурное тщеславие. Одно смягчающее мою вину и объясняющее обстоятельство это то, что я делал это для своих, для своей семьи. Из денег, разумеется, кроме зла (как и вы пишете), едва ли что-нибудь выйдет, но для моей семьи – это начало того, к чему я тяну постоянно, – отдать то, что есть, не для того, чтобы сделать добро, а чтобы быть меньше виноватым.

То, что мои доводы малоубедительны, я очень хорошо знаю. Ошибаюсь ли я или нет, но я думаю, что я могу сделать их неопровержимыми для всякого человека логическо-

го, рассуждающего; но я убедился, что убеждать логически не нужно. Я пережил уже эту эпоху. То, что я писал и говорил, достаточно для того, чтобы указать путь: всякий ищущий сам найдет, и найдет лучше и больше и свойственнее себе доводы, но дело в том, чтобы показать путь. Теперь же я убедился, что показать путь может только жизнь, – пример жизни. Действие этого примера очень небыстро, очень неопределенно (в том смысле, что, думаю, никак не можешь знать, на кого оно подействует), очень трудно. Но оно одно дает толчок. Пример – доказательство возможности христианской, т. е. разумной и счастливой жизни при всех возможных условиях; это одно двигает людей, и это одно нужно и мне, и вам, и давайте помогать друг другу это делать. Пишите мне, и будемте как можно правдивее друг перед другом. Обнимаю вас и всех ваших».

С переездом семьи в город начинается новый образ жизни Л. Н-ча, являются новые связи с людьми. Мы расскажем об этом в следующей главе.

Глава 19. Жизнь Льва Николаевича в Москве в начале 80-х годов

В последнем приведенном нами отрывке из письма графини к ее сестре она говорит, что Л. Н-ч посетил «какого-то раскольника-христианина». В дневнике его того времени есть короткая запись:

«Был в Торжке у Сютаева. Утешенье».

Мы полагаем, что читателю известна эта замечательная личность. Мы ограничиваемся здесь некоторыми сведениями, сообщенными нам самим Л. Н-чем об этом посещении. Узнав еще в Самаре от Пругавина о Сютаеве и его сыне, отказавшемся от воинской повинности и отбывавшем наказание в шлиссельбургском дисциплинарном батальоне, Л. Н-ч задумал посетить отца.

Он поехал к тверским помещикам Бакуниным, своим давнишним знакомым, от имени которых деревня Сютаева – Шавелино – находится в 8–9 верстах. Бакунины мало интересовались сектантством и едва слышали о Сютаеве. Л. Н-ч поехал к нему и застал его дома. Сютаев тогда устраивал «общину» из своей семьи. Он рассказывал, что у них не только неделимое хозяйство, но даже бабьи сундуки общие. На невестке Сютаева был надет платок. Л. Н-ч спросил: «Ну, а платок у тебя свой?», желая провести границу между общим и личным имуществом. «А вот и нет, – отвечала невест-

ка, – платок не мой, а матушки, свой не знаю куда задевала». Сютаев водил Л. Н-ча к своему единомышленнику, бывшему солдату, за которого он выдал свою дочь. Вот как рассказывают Сютаев о свадьбе своей дочери: «Когда порешили и собрались вечером, я им дал наставление, как жить, потом постлали им постель, положили их спать вместе и потушили огонь, вот и вся свадьба».

Сютаев пас деревенское стадо. Он добровольно избрал эту должность, потому что жалел скотину, и говорил, что у других пастухов скотине бывает плохо, а он водил ее по хорошим местам и наблюдал, чтобы она была и сыта, и напоена. Сютаев запряг лошадку в телегу, чтобы проводить Л. Н-ча до Бакунина. Кнута для понукания лошади Сютаев не употреблял. Они ехали и разговаривали и так были увлечены мечтами о наступлении царства божия на землю, что не заметили, как лошадь завезла их в овраг, телега опрокинулась, и они оба вывалились, к счастью, без большого вреда для обоих. Нам придется еще раз вернуться к рассказу об этом крестьянине-мудреце.

В это время Л. Н-ч познакомился еще в Москве с одной замечательной личностью, Николаем Федоровичем Федоровым, библиотекарем Румянцевского музея, теперь уже умершим. Л. Н-ч записывает о нем в дневнике:

«Николай Федорович – святой. Каморка. «Исполнять? это само собою разумеется». Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели».

Николай Федорович, по рассказам близко знавших его, спал на пачках старых журналов. Потребности его были доведены до минимума, работоспособность необыкновенная. Обладая сильною памятью, он был живой каталог и всегда с особенною любезностью и старанием давал библиографические указания всем обращающимся к нему, участливо вникая в самую суть работы занимавшихся в библиотеке.

Особенность его христианских, религиозных взглядов состояла в вере в какое-то научно-мистическое бессмертие.

Эта личность заслуживает внимательного изучения, и мы очень советуем лицам, близко знавшим его, собрать о его жизни возможно больше материала.

Еще укажем на близкого тогда ко Л. Н-чу человека, учителя железнодорожного училища Владимира Федоровича Орлова, поражавшего Л. Н-ча своим духовным, художественным толкованием евангельских текстов в самом радикальном христианском духе.

Обо всех этих людях Л. Н-ч с радостью сообщает своему другу В. И. Алексееву, и это письмо, давая краткую характеристику первых друзей Л. Н-ча по вере, вместе с тем изображает в ярких красках и душевную борьбу, которую он переживал в Москве:

«Спасибо вам, дорогой Василий Иванович, за письмо ваше. Думаю я о вас беспрестанно и люблю вас очень. Вы недовольны собой, что же мне-то сказать про себя? Мне очень тяжело в Москве. Больше двух месяцев я живу и все так же

тяжело. Я вижу теперь, что я знал про все то, про всю громаду соблазнов, в которых живут люди, но не верил им, не мог представить их себе, как вы знали, что есть Кавказ по географии, но узнали его только, когда приехали в него. И громада этого зла подавляет меня, приводит в отчаяние, вселяет недоверие, удивляет меня, – как же никто не видит этого? Может быть, и мне нужно было это, чтобы яснее найти свой честный путь в жизни. Представляется прежде всего одно из двух: или опустить руки и страдать бездейтельно, предаваясь отчаянию, или помириться со злом, затуманивать себя винтом, пустомельем, суетой. Но, к счастью, я последнего не могу, а первое слишком мучительно, и я ищу выхода. Выход представляется мне один: проповедь печатная и изустная. Но тут тщеславие, гордость и, может быть, самообман, и боишься его. Другой выход – делать добро людям, но тут огромность числа несчастных подавляет. Не так, как в деревне, где складывается кружок естественный. Единственный выход, который я вижу из этого, – жить хорошо, всегда ко всем поворачиваться доброй стороной, но этого я все еще не умею делать, как вы. Вспоминаю о вас; когда обрываюсь на этом. Редко могу быть таким – я горяч, сержусь, негодную и недоволен собою. Есть и здесь люди. И мне дал бог сойтись с двумя: Орлов один, другой, и главный, – Николай Федорович Федоров. Это библиограф Румянцевской библиотеки. Помните, я вам рассказывал. Они составили план общего дела всего человечества, имеющего целью воскресение всех

людей во плоти. Во-первых, это не так безумно, как кажется. Не бойтесь, я не разделяю его взглядов, но я так понял их, что чувствую себя в силах защитить эти взгляды перед всяким другим верованием, имеющим внешнюю цель; во-вторых, и главное, благодаря этому верованию он по жизни самый чистый христианин. Когда я ему говорю об исполнении Христова учения, он говорит: «да, это разумеется», и я знаю, что он исполняет его. Ему 60 лет, он нищий, все отдает, всегда весел и кроток. Орлов – пострадавший, 2 года сидел по делу Нечаева, и болезненный, тоже аскет по жизни и кормит 9 душ, и живет хорошо. Он учитель в железнодорожной школе. Соловьев здесь, но он головной. Еще был я у Сютаева, тоже христианин и на деле. Книгу мою – «Краткое изложение» – читал и Орлов, и Федоров, и мы единомышленники с Сютаевым во всем, до малейших подробностей. Ну, казалось бы, хорошо. Кроме того, пишу рассказы, в которых хочу выразить мои мысли. Казалось бы хорошо, но нет спокойствия. Торжество равнодушия, приличия, привычность зла и обмана давят. Сижу все дома, утром пытаюсь работать, плохо идет. Часа в 2–3 иду за Москву реку пилить дрова. И когда есть сила и охота подняться, это освежает меня, придает силы, видишь жизнь настоящую и хотя прыжком в нее окунешься и освежишься. Но когда не хожу (тому назад недели три я ослабел и перестал ходить, и совсем было опустился), раздражение, тоска. Вечером сижу дома и одолевают гости. Хоть и интересные, но пустые разговоры, и теперь хочу за-

твориться от них. Перечел письмо и вижу, что оно ужасно бестолково, но боюсь, не сумею написать лучше, и посылаю. Напишу непременно получше в другой раз. Пишите, пожалуйста, почаще».

В то же время Л. Н-ч продолжает сношение и со своим старым другом Н. Н. Страховым. К сожалению, мы не могли достать писем Л. Н-ча к Страхову за этот период. Но в нашем распоряжении есть письмо Страхова ко Л. Н-чу, которое интересно и само по себе, а также и по тому отношению Л. Н-ча к Страхову, которое легко выясняется из этого письма. Вот это письмо, от 29 ноября 1881 года:

«Получил ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, и нашел в нем то самое, что ожидал, тот упрек, который мне слышался в вашем молчании и который я так часто сам делаю. Этот упрек смущает меня перед вами и тревожит мою совесть постоянно. Почему я понимаю ваши чувства, но не разделяю их? Буду говорить, как на исповеди. Потому, что у меня нет такой силы чувства, как у вас, не хочу и насиловать себя или прикидываться, а где же я возьму ту беззаветность, ту горячность, с которою вы чувствуете, которыми одарено ваше сердце? Будьте снисходительны ко мне, не отталкивайте меня из-за этой разницы. Ваше отвращение к миру – я его знаю, потому что и сам испытываю его, но испытываю в той легкой степени, в которой оно не душит и не мучит, но и привязанности к миру у меня никакой нет; если же есть ка-

кая, то я стараюсь теперь уничтожить ее, оборвать последние ниточки. Постоянно я думаю об этом, и мне кажется, сделал некоторые успехи; не буду вам рассказывать, так они еще малы и, может быть, и те обманчивы. На усилия, на крутые повороты я не способен, но знаю, что, постоянно держась одной мысли, одного пути, могу дойти до чего-нибудь хорошего. Я стал несравненно спокойнее, чем был, и все благодаря вам и чтению монашеских книг. Правда, это спокойствие беспрестанно нарушается, и опять приходится бороться, но колебания эти далеко не так мучительны, как бывало.

Любить людей – боже мой, как это сладко! И в слабой степени я испытываю это чувство, я знаю его по опыту, но нет у меня силы и в этом, как и во всем другом. И все лучшие чувства, какие я нахожу в себе, я все их берегу, воспитываю в себе, держусь за них, но не в моей власти дать им порыв и огонь. Такова моя натура и такова моя судьба, жизнь сложилась сообразно с этими свойствами. Не будьте же строго требовательны ко мне, я вам обязан, вероятно, лучшими минутами своей жизни, смотрите не на то одно, что во мне дурное, а и на то, что можно найти хорошего. А впрочем, наставляйте меня, я вас охотно слушаюсь, вы сами знаете.

Ваш всей душою *Н. Страхов*».

В январе 1882 года Москва готовилась к трехдневной переписи, назначенной на 23, 24 и 25 января. Льву Николаевичу пришло на мысль воспользоваться переписью, при кото-

рой счетчиками и их руководителями будет обнаружена вся московская нищета, и предложить этим людям из московского интеллигентного общества не прерывать завязанного таким образом общения, а продолжать его и увлечь других для братской любовной помощи городской нужде.

И он написал известную статью «О переписи». Все, что он испытал, распространяя, читая и печатая эту статью, он сам рассказал в своей книжке «Так что же нам делать?», откуда мы и заимствуем этот вполне автобиографический рассказ.

«Составив себе этот план, – говорил Л. Н-ч, – я написал об этом статью и прежде еще, чем отдать ее в печать, пошел по знакомым, от которых надеялся получить содействие. Всем, кого я видел в этот день (я обращался особенно к богатым), я говорил одно и то же, почти то же, что я написал в статье: я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей и делом, и деньгами и сделать так, чтобы бедных не было в Москве и мы, богатые, со спокойной совестью могли бы пользоваться привычными нам благами жизни. Все слушали меня внимательно и серьезно, но при этом со всеми без исключения происходило одно и то же.

Все соглашались, но соглашались, как мне казалось, не вследствие моего убеждения и не вследствие своего желания, а вследствие какой-то внешней причины, не позволявшей не соглашаться. Я заметил это уже и по тому, что ни один из обещавших мне свое содействие деньгами, ни один

сам не определил сумму, которую он намерен дать, так что я сам должен был определить ее и спрашивал: «так я могу рассчитывать на вас до 300, или 200, или 100, или 25 руб.?» и ни один не дал денег. Я отмечаю это потому, что когда люди дают деньги на то, чего сами желают, то обыкновенно торопятся дать деньги. На ложу Сары Бернар сейчас дают деньги в руки, чтобы закрепить дело. Здесь же, из всех тех, которые соглашались дать деньги и выражали свое сочувствие, ни один не предложил сейчас же дать деньги, но только молчаливо соглашались на ту сумму, которую я определил».

Л. Н-ч описывает далее посещение одного великосветского салона и продолжает так:

«Вернувшись домой в этот день, я лег спать не только с предчувствием, что из моей мысли ничего не выйдет, но со стыдом и сознанием того, что целый этот день я делал что-то очень гадкое и стыдное. Но я не оставил этого дела. Во-первых, дело было начато, и ложный стыд помешал бы мне отказаться от него; во-вторых, не только успех этого дела, но самое занятие им давало мне возможность продолжать жизнь в тех условиях, в которых я жил; неуспех же подвергал меня необходимости отречения от своей жизни и искания новых путей жизни. А этого я боялся бессознательно. И я не поверил внутреннему голосу и продолжал начатое.

Отдав в печать свою статью, я прочел ее в корректуре в думе. Я прочел ее, краснея до слез и запинаясь: так мне было неловко. Так же неловко было, я видел, и всем слушате-

лям. На вопрос мой, по окончании чтения, о том, принимают ли руководители переписи мое предложение оставаться на своих местах для того, чтобы быть посредниками между обществом и нуждающимися, произошло неловкое молчание. Потом два оратора сказали речи. Речи эти как бы поправили неловкость моего предложения: выражено было мне сочувствие, но указано было на неприложимость моей всеми одобряемой мысли. Всем стало легче. Но когда я потом, все-таки желая добиться своего, спрашивал у руководителей порознь, согласны ли они при переписи исследовать нужды бедных и оставаться на своих местах, чтобы служить посредниками между бедными и богатыми, им всем опять стало неловко. Как будто они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять лезешь с нею? Такое было выражение их лиц, но на словах они сказали мне, что согласны, и двое из них, каждый порознь, как будто сговорились, одними и теми же словами сказали: «Мы считаем себя нравственно обязанными это сделать». То же самое впечатление произвело мое сообщение и на студентов-счетчиков, когда я им говорил о том, что мы во время переписи, кроме целей переписи, будем преследовать и цель благотворительности. Когда мы говорили про это, я замечал, что им совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости. Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда я отдал ему статью, на моего сына, на мою жену, на самых раз-

нообразных людей. Всем почему-то становилось неловко, но все считали необходимым одобрить самую мысль, и все тотчас после этого одобрения начинали высказывать свои сомнения в успехе и начинали почему-то (но все без исключения) осуждать равнодушие и холодность нашего общества и всех людей, очевидно, кроме себя.

В глубине души я продолжал чувствовать, что все это не то, что из этого ничего не выйдет, но статья была напечатана, и я взялся участвовать в переписи; я затеял дело, и дело само уж затянуло меня».

В своей книге, озаглавленной «Так что же нам делать?», Л. Н-ч с неподражаемой искренностью рассказывает свои неудачные опыты благотворительности.

Чтобы не приводить целиком всех этих глав, составляющих страницы из жизни самого Л. Н-ча, мы расскажем вкратце их содержание.

Ему был назначен по его просьбе участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по Проточному переулку, между береговым проездом и Никольским переулком. В этом участке находятся дома, называемые вообще Ржаное дом, или Ржановская крепость.

В первый раз Л. Н-ч пошел туда за несколько дней до переписи один, чтобы лучше ориентироваться потом. Он сразу окунулся во всю нужду, царствовавшую там, и тогда же ясно сознал, как трудно исполнимо задуманное им дело.

«Я, как ни странно сказать, – говорит Л. Н-ч, – в первый

раз ясно понял, что дело, которое я затевал, не может состоять в том только, чтобы накормить и одеть тысячу людей, как бы можно было накормить и загнать под крышу 1000 баранов, а должно состоять в том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что каждый из этой тысячи людей такой же точно человек, с такими же страстями, соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же вопросами, такой же человек, как и я, то затеянное мною дело вдруг представилось мне так трудно, что я почувствовал свое бессилие. Но дело было начато, и я продолжал его».

Затем, в назначенные дни переписи, Л. Н-ч со студентами-счетчиками, назначенными в его распоряжение, внимательно и добросовестно обошел все грязные углы ужасной Ржановской крепости, и в то время, как счетчики делали свое дело, опрашивая и записывая нужные им статистические данные, Л. Н-ч старался расспросами со своей стороны разузнать степень и подробности нужды и делал заметки о возможной и предполагаемой помощи.

Собранный им таким образом материал дал возможность ему разделить всех нуждающихся на три разряда, именно:

Люди, потерявшие свое прежнее положение и ожидающие возвращения к нему (такие люди были и из низшего, и из высшего сословия), потом распутные женщины, которых очень много в этих домах, и третий отдел – дети. Больше всех он нашел и записал людей первого разряда. Пришлось бы перепечатывать здесь всю книгу, если бы желать рассказать

все яркие картины, переданные в ней Л. Н-чем. Мы скажем только, что все его попытки помощи ни к чему не привели, лишь раскрыли перед ним во всем своем ужасе язвы нашего общественного строя.

Последний обход был ночью. Л. Н-ч так рассказывает о нем:

«Мы приехали в темный трактир, подняли половых и стали разбирать свои папки. Когда нам объявили, что народ узнал об обходе и уходит из квартир, мы попросили хозяина запереть ворота и сами ходили на двор уговаривать уходивших людей, уверяя их, что никто не спросит их билетов. Помню странное и тяжелое впечатление, произведенное на меня этими встревоженными ночлежниками: оборванные, полураздетые, они все мне казались высокими при свете фонаря в темноте двора; испуганные и страшные в своем испуге, они стояли кучкой около вонючего нужника, слушали наши уверения и не верили нам: очевидно, они готовы были на все, как травленный зверь, чтобы только спастись от нас. Господа в разных видах: и как полицейские, городские и деревенские, и как следователи, и как судьи, всю жизнь травят их и по городам, и по деревням, и по дорогам, и по улицам, и по трактирам, и по ночлежным домам, и теперь вдруг эти господа приехали и заперли ворота только затем, чтобы считать их; им этому так же трудно было поверить, как зайцам тому, что собаки пришли не ловить, а считать их. Но ворота были заперты, и встревоженные ночлежники вернулись, мы

же, разделившись на группы, пошли. Впереди нас, во мраке, шел Ваня в пальто и белых штанах с фонарем, а за ним и мы. Шли мы в знакомые мне квартиры. Помещения были мне знакомы, некоторые люди тоже, но большинство людей было новое, и зрелище было новое и ужасное, еще ужаснее того, которое я видел у Ляпинского дома. Ужасно было зрелище по тесноте, в которой жался этот народ, и по смешению женщин с мужчинами. Все женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины с детьми на узких койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И, главное, ужасно по тому огромному количеству людей, которые были в этом положении. Одна квартира и потом другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нет им конца. И везде тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до одурения мужчины и женщины, и тот же испуг, покорность и виновность на всех лицах, и мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме, и я понял, что то, что я затевал, было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не записывал и не спрашивал, зная, что из этого ничего не выйдет».

Приведем здесь еще один эпизод из переписи, по словам самого Л. Н-ча, имевший большое влияние на ход его мыслей и чувств.

В конце января в Москву приехал Василий Кириллович Сютаев и посетил Л. Н-ча. Об одном из посещений его так

рассказывает графиня С. А. в письме к своей сестре от 30 января 1882 года:

«...Вчера был у нас чопорный вечер: была кн. Голицына и дочь ее с мужем, была Самарина с дочерью, Мансуров молодой, Хомякова, Свербеевы, и пр., и пр. Вечера подобные очень скучны, но помогло присутствие мужика-раскольника Сютаева, о котором вся Москва теперь говорит, и возят его повсюду, а он проповедует везде. О нем есть статья в «Русской мысли» Пругавина. Действительно, он замечательный старик. Вот он начал проповедовать в кабинете, все и переползли из гостиной туда, и вечер тем закончился.

...Какая бездна и какое разнообразие народа бывает у нас, – пишет Соф. Андр. в том же письме: – и литераторы, и живописцы» (Репин писал одновременно с Таней в кабинете портрет Сютаева), *le grand monde*, нигилисты и кого-кого еще я не выдаю!»

А сам Л. Н-ч рассказывает об одном из свиданий с Сютаевым в Москве следующее:

«Это было в самый разгар моего самообольщения. Я сидел у моей сестры, и у нее же был Сютаев, и сестра расспрашивала меня про мое дело. Я рассказывал ей и, как это всегда бывает, когда не веришь в свое дело, я с большим увлечением, жаром и многословием рассказывал ей и то, что я делаю, и то, что может выйти из этого; я говорил все: как мы будем призывать сирот, старых, высылать из Москвы обедневших здесь деревенских, как будем облегчать путь исправления разврат-

ным, как, если только это дело пойдет, в Москве не будет человека, который бы не нашел помощи. Сестра сочувствовала мне, и мы говорили. Среди разговора я взглядывал на Сютаева. Зная его христианскую жизнь и значение, которое он придает милосердию, я ожидал от него сочувствия и говорил так, чтобы он понял: я говорил сестре, а обращал свою речь больше к нему. Он сидел неподвижно в своей черной дубки тулупчике, который он, как и все мужики, носил и на дворе, и в горнице, и как будто не слушал нас, а думал о своем. Маленькие глазки его не блестели, а как будто обращены были в себя. Наговорившись, я обратился к нему с вопросом, что он думает про это.

– Да все пустое дело, – сказал он.

– Отчего?

– Да вся ваша эта община пустая, и ничего из этого добра не выйдет, – с убеждением повторил он.

– Как не выйдет? Отчего же пустое дело, что мы поможем тысячам, хоть сотням несчастных? Разве дурно по-евангельски голого одеть, голодного накормить?

– Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве так помогать можно? Ты идешь, у тебя попросит человек 20 коп. Ты ему дашь. Разве это милостыня? Ты дай ему духовную милостыню, научи его. А это что же ты дал? Только, значит, отвяжись.

– Нет, да ведь мы не про то. Мы хотим узнать нужду и тогда помогать и деньгами, и делом. И работу найти.

– Да ничего этому народу так не сделаете.

– Так как же, им так и умирать с голода и холода?

– Зачем умирать? Да много ли их тут?

– Как много ли их? – сказал я, думая, что он так легко смотрит на это потому, что не знает, какое огромное количество этих людей.

– Да ты знаешь ли? – сказал я. – Их в Москве, этих голодных, холодных, я думаю, тысяч 20. А в Петербурге и по другим городам?

Он улыбнулся.

– Двадцать тысяч. А дворов у нас в России в одной сколько? Миллион будет?

– Ну, так что же?

– Что ж? – И глаза его заблестели, и он оживился. – Ну, разберем их по себе. Я не богат, а сейчас двоих возьму. Вон мало-то ты взял на кухню: я его звал к себе, он не пошел. Еще десять раз столько будь, всех по себе разберем. Ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдем вместе: он будет видеть, как я работаю, будет учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня, а то это ваша община совсем пустая.

Простое слово это поразило меня. Я не мог не сознавать его правоту, но мне казалось тогда, что, несмотря на справедливость этого, все-таки может быть полезным и то, что я начал. Но чем дальше я вел это дело и чем больше я сходил-ся с бедными, тем чаще мне вспоминалось это слово и тем

больше оно получало для меня значения».

Увидав всю несостоятельность своих благотворительных планов, Л. Н. решил прекратить эту деятельность.

Раздав оставшиеся у него на руках деньги, Л. Н-ч уехал в Ясную Поляну, «раздраженный на других, как это всегда бывает, за то, что я сам делал глупое и дурное дело, – говорит он в своей книге. – Благотворительность вся сошла на нет и совсем прекратилась, но ход мыслей и чувств, который она вызвала во мне, не только не прекратился, но внутренняя работа пошла с удвоенной силой».

В Ясной, в уединении, Л. Н-ч продолжал свою критическую работу.

Он пишет оттуда С. А-не:

«...Я думаю, что лучше, спокойнее мне никогда бы не могло быть. Ты вечно в доме и в заботах семьи не можешь чувствовать ту разницу, которая составляет для меня город и деревня.

Впрочем, нечего говорить и писать в письме; я об этом самом пишу теперь, и ты прочтешь яснее, если удастся написать. Главное зло города для меня и для всех людей мысли (о чем я не пишу) – это то, что беспрестанно приходится или спорить, опровергать ложные суждения, или соглашаться с ними без спора, что еще хуже. А спорить и опровергать пустяки и ложь – самое праздное занятие и ему конца нет, потому что лжей может быть и есть бесчисленное количество. А занимаешься этим и начинаешь воображать, что это дело,

а это самое большое безделье. Если же не спорить, то что-нибудь уяснишь себе, так что оно исключает возможность спора. А это делается только в тишине и уединении – я знаю, что нужно и общение с подобными себе очень нужно, и мои три месяца в Москве, с одной стороны, мне дали очень много, не говоря уже об Орлове, Николае Федоровиче, Сютаеве; ближе узнать людей, общество даже, которое холодно осуждал издали, – мне дало очень много. И я разбираюсь со всем этим материалом. Перепись и Сютаев уяснили мне очень многое. Так не беспокойся обо мне. Случиться все может и везде, но я здесь в условиях самых хороших и безопасных».

Софья Андреевна в своем дневнике так говорит об этой поездке:

«28 февраля 1882 г...Мы в Москве... жизнь наша в Москве была бы очень хороша, если бы Левочка не был так несчастлив в Москве. Он слишком впечатлителен, чтобы вынести городскую жизнь, и, кроме того, его христианское настроение слишком не уживается с условиями роскоши, тунеядства, борьбы – городской жизни. Он уехал в Ясную вчера с Ильей (сыном) – заняться и отдохнуть».

Л. Н-ч вернулся в Москву, но ненадолго. В начале марта мы видим его опять в Ясной Поляне.

Настроение его в Москве, по-видимому, было тяжелое, и не было семейного согласия.

Мы думаем, что этот 1882 год был один из самых тяжелых для Л. Н. и его семьи. Слишком разные были их интересы,

стремления их были противоположны.

Мы видим отражение этих отношений в их переписке.

Приехав в Ясную, Л. Н-ч, вероятно, выразил в письме к Софье Андреевне новое неодобрение ее городской жизни, так как она в ответ писала ему 3 марта:

«...Первое, самое унылое и грустное, когда я проснулась, было твое письмо. Все хуже и хуже. Я начинаю думать, что если счастливый человек вдруг увидел в жизни только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо. Я говорю это без всякой задней мысли, мне кажется это ясно, мне тебя ужасно жаль, и если бы ты без досады обдумал и мои слова, и свое положение, ты, может быть, нашел бы исход.

Это тоскливое состояние уже было прежде давно: ты говоришь: «от безверья повеситься хотел»? А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастлив? И разве ты прежде не знал, что есть голодные, больные, несчастные и злые люди? Посмотри получше: есть и веселые и здоровые, счастливые и добрые. Хоть бы бог тебе помог, а я что же могу сделать».

А Л. Н-ч между тем наслаждался деревенским уединением, живя в гармонии с природой.

Вот выписки из его двух писем:

«...Читал старые «Revue» – прекрасные статьи по религиозным вопросам – и много думал. Потом поехал верхом и еще больше думал...

...Здесь все ручьи налились, так что проехать трудно. Но нынче морозит и выдуло так, что я топлю другой раз. Нынче смотрю на дом К. и думаю: зачем он себя мучает, служит, где не хочет? И они все, и мы все взяли бы да жили все в Ясной и лето, и зиму, воспитывали бы детей. – Но знаю, что все безумное возможно, а разумное невозможно...

...Очень бы хотелось написать ту статью, которую я начал, но если бы и не написал в эту неделю, я бы не огорчился. Во всяком случае мне очень здорово отойти от этого задорного мира городского и уйти в себя, читать мысли других о религии, слушать болтовню Агафьи Михайловны и думать не о людях, а о боге...

...Чтение у меня превосходное. Я хочу собрать все статьи из «*Revue*», касающиеся философии и религии, и это будет удивительный сборник религиозного и философского движения за 20 лет. Когда устану от этого чтения, беру «*Revue Etrangere*» 1834 г. и там читаю повести, тоже очень интересно. Письма твоего в Туле вчера не получил, вероятно, не умели спросить. Но зато я получил твое на Козловке. И очень оно мне было радостно. Не тревожься обо мне и, главное, себя не вини. «Остави нам долги наши, якоже и мы». Как только других простил, то и сам прав. А ты по письму простила и ни на кого не сердись. А я давно перестал тебя упрекать. Это было только вначале. Отчего я так опустился, я сам не знаю. Может быть, года, может быть, нездоровье... но жаловаться мне не на что. Московская жизнь мне очень мало да-

ла, уяснила мне мою деятельность, если еще она предстоит мне, и сблизила нас с тобой больше, чем прежде... Я нынче думал о больших детях. Ведь они, верно, думают, что такие родители, как мы, это не совсем хорошо, а надо бы много лучше, и что когда они будут большие, то будет много лучше. Так же, как им кажется, что блинчики с вареньем это уже самое скромное и не может быть хуже, а не знают, что блинчики с вареньем это все равно, что 200000 выиграть. И потому совершенно неверное рассуждение, что хорошей матери должны бы меньше грубить, чем дурной. Грубить – желание одинаково – хорошей и дурной; а хорошей грубить безопаснее, чем дурной, потому ей чаще и грубят.

...Боюсь я, как бы мы с тобой не переменились ролями: я приеду здоровый, оживленный, а ты будешь мрачна, опустишься. Ты говоришь: «я тебя люблю, а тебе этого теперь не надо». – Только этого и надо... И ничто так не может оживить меня, и письма твои оживили меня. Печень печенью, а душевная жизнь своим порядком. Мое уединение мне очень нужно было и освежило меня, и твоя любовь ко мне меня больше всего радует в жизни».

Возвращение Л. Н-ча в Москву на этот раз ознаменовалось радостным событием. Ко Л. Н-чу приехал художник-живописец Николай Николаевич Ге.

Про это событие своей жизни Ге рассказывает довольно подробно в своих «Записках». Он говорит:

«В 1882 году случайно попало мне слово великого писателя Л. Н-ча Толстого «О переписи в Москве». Я прочел его в одной из газет. Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в них несчастных, пишет: «Наша нелюбовь к низшим – причина их плохого состояния...»

Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему.

Приехал, купил холст, краски – еду: не застал его дома. Хожу три часа по всем переулкам, чтобы встретить, – не встречаю. Слуга (слуги – всегдашние мои друзья), видя мое желание, говорит: «Приходите завтра в 11 часов, наверно он будет дома». Прихожу. Увидел, обнял, расцеловал. «Лев Николаевич, я приехал работать, что хотите. Вот дочь ваша, хотите, напишу портрет?» – «Нет, уж коли так, то напишете жену». – Написал. Но с этой минуты я все понял, я безгранично полюбил этого человека, он мне все открыл. Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь, – он мне это называл, а главное, он любил то же самое.

Месяц я видел его каждый день. Я видел множество лиц, к нему приходивших, и между ними одну, которая воскресила воочию то высокое, то дорогое, что вместе и самое высшее, самое лучшее в человеке.

Я сидел, обернувшись к окну, и слезы мешали мне слушать эту женщину. Она пришла в истинный восторг, узнав, что он так думает. Я стал его другом. Все стало мне ясно. Искусство потонуло в том, что выше его неизмеримо. Это была бесконечная радость, но тут же началось то, что всегда преследует уже не художника, а человека, и преследует до смерти».

Последствия этого знакомства были для Н. Н. Ге неисчислимы.

Подходя к этому факту жизни знаменитого художника, его биограф В. В. Стасов говорит:

«И вот немного спустя после катастрофы 1880 года его ожидало такое необыкновенное событие, какого он никогда и отгадать вперед не мог, но которое перестановило всю его жизнь на новый рельс и поставило перед ним колоссальный паровоз, уже увлекавший вперед, в могучем разбеге, десятки и сотни тысяч людей, а на этот раз увлекший и его.

В 1882 году Н. Н. Ге познакомился со Львом Николаевичем Толстым».

Графиня С. А. так пишет сестре своей об этом первом знакомстве:

«...Теперь знаменитый художник Ге («Тайная вечеря» на полу, говорили про него, что он нигилист) пишет мой портрет масляными красками, очень хорошо. Но какой он милый, наивный человек, прелесть! Ему 50 лет, он плешивый, ясные голубые глаза и добрый взгляд. Он приехал познако-

миться с Левочкой: объяснялся ему в любви и хотел для него что-нибудь сделать. Взошла моя Таня, он говорит Левочке: «Позвольте мне написать вашу дочь». Левочка говорит: «Уж лучше жену». Вот я сижу уже неделю, и меня изображают с открытым ртом, в черном бархатном лифе, на лифе кружева мои d'Alençon, просто, в волосах, очень строгий и красивый стиль портрета».

Интересные сведения об этом знакомстве сообщает Т. Л. Сухотина, урожденная Толстая, старшая дочь Л. Н-ча, в своих воспоминаниях о Н. Н. Ге:

«Во время сеансов Ге много разговаривал со всеми нами. Он рассказывал, между прочим, о том впечатлении, какое произвела на него статья моего отца «О переписи в Москве», и о том, как она совершенно перевернула все его мирозерцание и из язычника сделала его христианином.

Он до конца жизни поминал это и сохранил к отцу самую нежную благодарность, которую он часто высказывал ему и еще чаще нам, его детям и моей матери, боясь быть неприятным отцу слишком частым повторением своих чувств.

Трудно сказать, насколько мой отец был причиной того нравственного переворота, который произошел в душе Ге. Я была слишком молода во время их первого знакомства, чтобы тогда быть в состоянии составить себе об этом ясное представление. Но теперь мне кажется, что пути, по которым шла душевная работа Ге и моего отца, вначале шли независимо друг от друга, но в одинаковом направлении. Оба

они были художники, за обоими были в прошлом крупные художественные произведения, сделавшие их славу как художников, и оба они, пресытившись славой, увидали, что она не может дать смысла жизни и счастья. Мой отец провёл несколько лет в мучительных исканиях и сомнениях. На сколько я знаю, то же было и с Ге. Несколько лет его жизни прошло, в которые он не написал ни одной картины. Он жил у себя в Малороссии и тосковал без дела и без цели в жизни.

Он был на перепутье, и как только он увидел по статьям отца, что отец переживает ту же душевную работу, которая и в нём происходила, он узнал себя и с радостью и восторгом бросился к отцу, в надежде, что он поможет ему выбраться из той темноты, в которой он пребывал в победнее время. Это так и случилось. И хотя изредка нападало на него чувство раздражения и одиночества среди людей, не разделяющих его взглядов, он тем не менее всегда умел себя побороть и стал опять спокойным и радостным».

В том же 1882 году Л. Н-ча посетил Николай Константинович Михайловский, который так рассказывает сам в своих воспоминаниях о знакомстве со Л. Н-чем.

«В 1881 г. гр. Толстой сделал новую честь «Отечественным запискам», ещё раз предложив свое сотрудничество. У меня нет письма графа, в котором он делал нам это лестное предложение; но вот что в своем обыкновенном, шутиливо-ворчливом тоне писал по этому поводу Салтыков Елисею, бывшему тогда за границей:

«Я получил от Льва Толстого диковинное письмо. Пишет, что он до сих пор пренебрегал чтением русской литературы и вдруг, дескать, открыл целую новую литературу, превосходную и искреннюю, в «Отечественных записках». И это так его поразило, что он отныне намерен писать и печатать в «Отечественных записках». Я, разумеется, ответил, что очень счастлив, и журнал счастлив, и сотрудники счастливы, что будем ждать с нетерпением, а условия предоставляем определить ему самому. Но куда еще ответа от него нет».

Сколько я помню, ответа так и не последовало. В 1882 г. мне нужно было быть в Москве, и Салтыков просил меня захватить к гр. Толстому и напомнить ему его собственное предложение. Тогда в петербургских литературных кружках ходили слухи о какой-то повести, которую гр. Толстой уже написал или пишет. Это была, вероятно, «Холстомер», а может быть «Смерть Ивана Ильича»; я был очень рад случаю явиться к гр. Толстому с делом, а не просто с желанием познакомиться.

Граф жил тогда еще не в собственном доме в Хамовниках, а где-то на Арбате, равным образом и сапог еще не шил, и «Исповеди» не писал. Это не мешало ему производить впечатление простого, искреннего человека, несмотря на светский лоск. Как ни странным может показаться это последнее выражение по отношению к гр. Толстому, но оно вполне уместно. Настоящая светскость состоит ведь не в перчат-

ках и не во французском языке. Светский человек сказался прежде всего в том непринужденном и уверенном спокойствии, с которым граф отклонил деловую часть нашего разговора. Когда я сказал ему, что так, мол, и так, слышали мы, что вы повесть написали или пишете, так не дадите ли ее нам, он ответил: «О нет, у меня ничего нет, это просто Н. Н. Страхов нашел в моих старых бумагах рассказ и заставил его отделать и кончить, ему уже дано назначение». И затем граф легко и свободно перешел к разговору об «Отечественных записках», сказал много приятных для нас вещей, ни одним словом, однако, не упоминая о своем предложении и тем как бы приглашая и меня не говорить о нем. Я, разумеется, последовал этому невыраженному приглашению. Так для меня и до сих пор остаются невыясненными как мотивы вышеупомянутого письма гр. Толстого к Салтыкову, так и мотивы его уклонения от исполнения собственного обещания или предложения. По-видимому, и то и другое сделалось просто вдруг, как многое у гр. Толстого. В этот раз мы беседовали с графом о литературе и о кое-каких житейских делах, между прочим, об одном приватном, но имевшем общественное значение, в высокой степени симпатичном поступке графа в тот страшный 1881 г. Я рад был выслушать рассказ об этом деле от самого графа и еще более рад был тому, что рассказ этот своею простотою и задушевностью вполне соответствовал тому представлению о гр. Толстом, которое я себе заочно составил.

Тогда мне довольно часто случалось бывать в Москве, и я всякий раз доставлял себе удовольствие заезжать к гр. Толстому. Это был один из приятнейших собеседников, каких я когда-либо встречал. Нам случалось много и горячо спорить, и как теперь слышу голос графа: «Ну, мы начинаем горячиться, это нехорошо, давайте выкурим по папироске, отдохнем». Мы закуриваем папиросы, и это, конечно, не прекращало спора, но, действительно, самим фактом приостановки на несколько секунд придавало ему спокойный характер».

Верный друг и ценитель Л. Н-ча Н. Н. Страхов продолжал писать Л. Н-чу, и по нижеприводимому письму мы ясно видим, в чем было сходство и в чем различие этих двух друзей. Они сходились на отрицании. Но отрицание Л. Н-ча было гораздо шире, а Страхова уже. И Л. Н-ч при своем широком отрицании давал огромный положительный идеал и требовал того же от Страхова, а тот при своем узком отрицании, по своему собственному сознанию, не мог дать ничего положительного. Это чистосердечное признание значительно искупает недочеты в проповеди Страхова, и, вероятно, эта искренность и была тою нитью, которая привязывала его ко Л. Н-чу, не терпевшему никогда никакой фальши. Вот это интересное письмо:

«1882 г. 31 марта. Как я обрадовался вашему письму, бесценный Лев Николаевич! Как горячо захотелось мне отвечать вам, спорить против вашего упрека, но я вдруг заболел

и с неделю был ни к чему не способен. Теперь поправляюсь и все же прошу извинить мое писание. Ваше возражение мне давно и не раз приходило в голову (есть даже у меня статья на эту тему). Все это движение, которое наполняет собою последний период истории, – либеральное, революционное, социалистическое, нигилистическое, – всегда имело в моих глазах только отрицательный характер; отрицая его, я отрицал отрицание. Часто я задумывался над этим и был изумляем, видя, что свобода, равенство, эти идеалы для многих, эти знамена битв и революций, в сущности, не содержат в себе ни малейшей привлекательности, никакого положительного содержания, которое могло бы дать им настоящую цену, сделаться положительными целями. Начиная с реформации и раньше и до последнего времени, все, что люди делают (как вы говорите), – не вздор, а постепенное разрушение некоторых форм, сложившихся в средние века. Четыре столетия идет это расшатывание и должно кончиться полным падением. В эти четыре века положительного ничего не явилось, да и теперь нет нигде в целой Европе. Самое новое в Америке и состоит в том, что голоса продаются, места покупаются и т. д. Общество держится старыми элементами, остатками веры, патриотизма, нравственности, мало-помалу теряющими свои основания. Но так как эти начала были воспитаны христианством до неслыханной силы, то человечество неизгладимо носит их в себе, и их еще долго хватит для его поддержания. Но живет оно не ими, а против их или помимо их.

Все новые принципы – прямое признание мирской, земной жизни, и вот отчего так пышно нынче развилась жизнь. Есть простор для всего, для всякого рода деятельности, и для науки и искусства, и для служения Марсу, Венере и Меркурию.

В таком странном положении живут люди. Нынешняя жизнь носит противоречие внутри себя. Она возможна только потому, что человек вообще может жить, не имея внутреннего согласия и останавливаясь на какой-нибудь одной мысли, напр., свободы, национальности, обязательного обучения и т. п.

И вот я отрицаю самые крайние из отрицаний и говорю, что если люди в них живут и действуют, то только в силу каких-нибудь положительных начал, обманывая сами себя, принимая призраки за действительность, любя и злобствуя, но без настоящего предмета для любви и злобы.

Я давно смотрю и вглядываюсь, но не вижу ясного идеала.

И вам ли меня упрекать? Не вы ли видите одно лишь безобразие и обман в самых огромных сферах и в самых распространенных формах человеческой жизни? Если у вас одно отрицаемое, а у меня другое, то ваше шире по объему и труднее для объяснения, чем мое. Всемирная история есть повесть безумия и в том и другом случае, но по-вашему безумия более повального и жестокого, чем по-моему. И разве в «Коммуне» и в «Ренане» я уж несколько не объясняю, почему люди это делают?

В сущности, ваша правда (только не ловите меня на сло-

ве), такие критические очерки, как мои, непременно требуют положительного изложения начал и без этого изложения легко могут быть употреблены на подпору самых дурных начал. Но, боже мой, это свое фальшивое положение я чувствую с тех пор, как пишу: я им мучусь, я знаю, что лучше бы прямо проповедовать цельную систему, ясную мысль. Но я делаю, что могу, и много, много молчу, и говорю осторожно и ясно, не пошлет ли бог других, которые скажут лучше и полнее?»

В начале апреля Л. Н-ч снова отправился в Ясную Поляну, откуда вскоре писал С. А.:

«Нынче утром вышел в одиннадцать часов и опьянел от прекрасного утра. Тепло, сухо, кое-где с глянцем тропинки, трава везде то шпильками, то лопушками лезет из-под листа и соломы, почки на сирени, птицы поют уж не бестолково, а уже что-то разговаривают, и в затишье на углах домов везде и у навоза жужжат пчелы. Я оседлал лошадь и поехал.

... Читал днем, потом обошел через пчельник и купальню. Везде трава, птицы, медунчики, нет ни городских, ни постовых, ни извозчиков, ни вонь, и очень хорошо. Так хорошо, что мне очень жалко вас стало, и думаю, что тебе непременно надо с детьми уезжать раньше, а я останусь с мальчиками. Мне с моими мыслями везде одинаково хорошо или дурно, а для моего здоровья влияния город иметь не может, а для твоего и детского большое. Обедал, доедал те роскоши, которые ты тогда прислала и Марья Афанасьевна сохранила. И

потом только посидел с книгой, уже солнце за Заказ стало красное заходить. Я скорее делать заряды, седлать лошадь и поехал за Митрофанову избу. Летали вальдшнепы, далеко от меня и мало, ни разу не выстрелил, но много, как всегда, религиозно думал и слушал дроздов, тетеревов, мышей по сухим листьям, собачий лай за Засекой, выстрелы ближние и дальние, филина даже, Булька на него лаяла, песни на Грумонте. Месяц взошел с правой стороны из-за туч, дождался, пока звезды видны, и поехал домой».

Немного погодя, он пишет:

«...Нынче был «городовой», урядник с саблей, этот не доставил мне удовольствия, – какие-то сведения ни ему и никому не нужные, и «ваше сиятельство», и ложь, и вздор. Нынче день теплый с дождичком, трава так и лезет, зелены стали такой яркой зеленой краски, какой не найдешь и у Аванцо».

21 апреля Страхов писал Л. Н-чу:

«Получивши ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, я сейчас же готов был отвечать вам, но все ждал хорошего духа. Мне до сих пор нездоровится, а хотелось бы хорошенько сказать свою мысль. Я не отрицаю вашего отрицания, а отрицаю другое отрицание, совершенно противоположное вашему. Что говорит христианин? Я не хочу имущества, не хочу власти над другими, не хочу судить, не хочу убивать, брать подати. Это святые желания, и их запретить невозможно. А что говорят те отрицатели, которых я отрицаю? Я не хочу,

чтобы у кого-нибудь было имущества больше моего, не хочу, чтобы кто-нибудь имел власть надо мною, не хочу быть судимым, не хочу быть убитым, не хочу платить податей. Разница большая, и как возможно смешать тех и других? Источник одних желаний есть отречение от себя, источник других – чистый эгоизм. Сходство заключается только в том, что, по-видимому, отрицаются одни и те же предметы; в сущности, отрицание имеет не одинаковый смысл, и это тотчас видно на последствиях. Христианские желания всегда возможно исполнить, ибо в них дело идет о перемене в нас самих; желания эгоиста неисполнимы, ибо требуют перемены целого мира и перемены для мира невозможной. Я могу никого не убивать, но ручаться, что меня никто не убьет, нельзя будет никогда. Когда же те и другие принимаются действовать, тогда разница начал обнаруживается всего яснее. От христианина нельзя ждать никакого насилия и разрушения, эгоисты же против суда ставят суд, против казни – убийство, против поборов – грабеж, против власти – измену, бунт, разрушение. Они последовательны, потому что их принцип тут не нарушается. Если не хочу неравенства в имуществе, то отниму у богатого; если не хочу имущества, то отдаю свое.

Характер эгоиста в высшей степени ясен у всех отрицателей, т. е. не то, что они сами великие эгоисты, а то, что признают эгоизм священным принципом. Они пылают негодованием против неправды, а неправдою называют нарушение чьего-нибудь эгоизма. Тогда как грех вовсе не в том наруше-

нии, а в нечистом желании, в неправде душевной. В сущности, когда мы щадим чужой эгоизм, обходимся с ним осторожно, мы поступаем как воры, не выдающие других врагов, или распутники, считающие долгом чести не выдавать женщин, с которыми блудят. Во всем направлении современных умов, во всех толках и стремлениях вы не найдете и намека на самоотречение как на коренной принцип; всякое душевное благородство рассматривается только как средство для эгоистического земного благополучия. Эта черта нынешних умов и душ отвратительна, и самые эти души гораздо лучше своего исповедания.

Государство и церковь действуют иначе. Они выставляют своею целью общее благо и прямо требуют для этого блага ограничения эгоизма, пожертвования некоторою его долею. Это понятно, это логично и достижимо и выполняется в огромных размерах. Злоупотребления не вытекают из самого принципа государства и церкви, точно так же, как и добрые чувства отрицателей не вытекают из принципа эгоизма. Государство в известном смысле требует от каждого, чтобы он отчасти отрекался от своего имущества, от своей воли и иногда от своей жизни. Вот почему против него восстают отрицатели. Это некоторый положительный принцип, и отрицать его труднее, чем отрицать эгоизм, который в самой сущности есть отрицание, отвержение всяких связей.

Итак, мир и мирские для меня имеют такое же низшее значение, как и для вас, но вы, отвергая мир, находите что-

то подобное своему отвержению в том, в чем я вижу только крайнее выражение мирского начала. Вы думаете, что мир добивается жизни, а я думаю, что он идет к смерти, что он доводит развитие своих начал до того, что сам себя убьет, и только этим убедится в ложности этих начал. Мечты человеколюбия, обновления, благополучия не имеют правильного источника, правильной цели и потому приведут в убийству, хаосу и страданию. Весь вопрос, как вы справедливо говорите, заключается в том, какое безобразие больше: то ли, которое вы отрицаете, или то, которое я; но я твердо убежден, что то, что я отрицаю, есть несомненное безобразие.

Чувствую, что много бы нужно еще сказать, и сказать лучше, чем говорю, и прибавлю только, что грусть мучит меня ужасная, и что я почти прихожу в негодование при виде людей спокойных и в хорошем духе. Простите, что я так навязчиво спорю с вами, мне дорого ваше хорошее мнение, и я не хотел бы, чтобы вы меня неправильно понимали. Еще раз простите меня.

Ваши душевно

Н. Страхов».

Здесь, как мы видим, Страхов уже защищает перед Л. Н-чем принципы церкви и государства, и расхождение их делается гораздо заметнее.

Страхов до конца жизни остался другом Л. Н-ча, потому что личная преданность его ко Л. Н-чу была безгранична.

В одном из следующих писем, сетуя на упреки Л. Н-ча,

он пишет ему:

«Когда я уезжал от вас в Крым, я часто припоминал ваши выражения о том, что «кто не со мною, тот против меня», и слова в письме, что я «хуже позитивистов», и я думал: он отлучает меня от церкви. Ну, что же делать! Я ведь потому держусь своих мыслей, что не могу иначе, и не лукавлю перед собою. Но пусть он отвергает меня, я останусь ему верен. Простите, что мне все хочется высказать вам свою нежность; но я почти готов молчать и воздавать вам почтение втайне от вас».

Разумеется, при таком отношении он не мог далеко отойти от Льва Николаевича.

В начале мая 1882 года С. А. с маленькими детьми и дочерьми уехала в Ясную Поляну, а Л. Н-ч на этот раз остался в городе со старшими мальчиками, учившимися в гимназии. Ему это было тем более удобно, что он задумал напечатать в журнале «Русская мысль» свою «Исповедь» и ему нужно было держать корректуры. Отдавая в печать «Исповедь», написанную им еще в 1879 г., Л. Н-ч приписал заключение к ней в виде рассказа о сне, виденном им недавно и давшем ему полное религиозное спокойствие. В рассказе об этом сне Л. Н-ч описывает свое фантастическое положение на помочах над пропастью, символически изображая свое неустойчивое душевное состояние. Когда «Исповедь» появилась, вероятно, в плохом французском переводе, этот рассказ о сне дал по-

вод одному горячему испанскому публицисту написать восторженную статью о Л. Н-че, причем публицист говорит, что Л. Н-ч предается аскетическим опытам и опрощению. И так упростил свою постель, что спит головой на столбе, а тело и ноги подвешены на ремнях.

«Исповедь» была запрещена и вырезана цензором из книжки «Русской мысли». Вскоре она была напечатана за границей, в Женеве, Эльпидиным, а затем переведена на все европейские языки.

Это было первое сочинение Л. Н-ча, запрещенное русской цензурой и разошедшееся по всей России в тысячах копий, рукописных, гектографиях, литографиях и разных других тайных воспроизведениях.

По просьбе Тургенева Л. Н-ч послал ему с одной дамой «Исповедь», прося Тургенева прочесть эту книгу, не сердясь на него, а стараясь стать на его точку зрения. Тургенев отвечал ему так:

«Я прочту вашу статью так, как вы желаете, – об этом речи быть не может. Я знаю, что ее писал человек очень умный и очень искренний; я могу с ним не соглашаться, но прежде всего я постараюсь понять его, стать вполне на его место. Это будет для меня поучительнее и интереснее, чем примеривать его на свой аршин или отыскивать, в чем состоит его разногласие со мной. Сердиться же совсем немислимо, – сердятся только молодые люди, которые воображают, что только и света, что в их окошке... а мне на днях минет 64 года. Дол-

гая жизнь научает не сомневаться во всем (потому что сомневаться во всем значит в себя верить), а сомневаться в самом себе, т. е. верить в чужое, и даже нуждаться в нем. Вот в каком духе я буду читать вас».

По прочтении же он сообщил такой отзыв о нем в письме к Д. В. Григоровичу от 31 окт. 1882 года:

«Я получил на днях через одну очень милую московскую даму ту «Исповедь» Л. Толстого, которую цензура запретила. Прочел ее с великим интересом, вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убеждения. Но построена она вся на неверных посылках и, в конце концов, приводит к самому мрачному отрицанию всякой человеческой жизни... Это тоже своего рода нигилизм. Удивляюсь я, по какому поводу Толстой, отрицающий, между прочим, и искусство, окружает себя художниками, и что могут они вынести из его разговоров? И все-таки Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России».

Очень ошибались те люди, которые полагали, что новое, религиозное настроение Л. Н-ча выражается в нем мрачностью и грустью. Таковы были лишь минуты обострившейся борьбы с окружающими его соблазнами. Но как только восстанавливалось его душевное равновесие, Л. Н-ч принимал добродушный, веселый, жизнерадостный тон, заражавший всех окружающих его неудержимым весельем:

Одним из таких веселых дел, в которые Л. Н-ч вдвухнул свои жизнерадостный дух, был так называемый «почтовый

ящик» в Ясной Поляне.

Заимствуем описание этого интересного учреждения, появившегося на свет как раз осенью 1882 года, из письма к нам Т. А. Кузминской, одной из участниц «почтового ящика».

Вот как было дело:

«Так как обе семьи наши были многочисленны и молодежи от 15–20 лет было много, а событий разных – еще больше, то часто хотелось и подсмеяться над чем-нибудь, и вывести секреты наружу, и похвалить, и осудить, то и был заключен договор между молодежью, что пускай в течение недели всякий пишет все, что ему угодно, не подписывая, конечно, своего имени. А в воскресенье вечером за чайным столом один кто-нибудь будет читать вслух все труды за неделю. Читал всегда один из нас трех: Лев Никол., сестра или я. Писано все было на листках бумаги, часто и на обрывках. Писали длинно и коротко, писали прозой и стихами. Темы самые разнообразные: печальные, поэтические, юмористические; секреты выходили наружу. Описывались события. Иногда писали целый лист в виде газеты. Писали и передовые статьи, был параграф о приезжих. Но больше сочинений выходило отдельными клочками. Сестра почти всегда писала стихами. Лев Ник. тоже иногда писал нам, очень интересовался «почтовым ящиком», всегда слушал все со вниманием. У меня сохранились некоторые его произведения, как-то «Лист прискорбно больных». Он описал всех нас сума-

сшедшими, именуя каждого номером. Начинал с самого себя. Уморительно, с латинскими названиями болезни и пр.

Почтовым ящиком называлось это оттого, что в передней повесили ящик с прорезом, запертый на ключ, и туда опускались в течение недели все произведения. Писали все: и дети, и учителя, и гувернантки, и большие, и часто живущие подолгу в Ясной. Цензуры предварительной не было. А читающий, если было что обидное или нецензурное, пропускал по усмотрению».

До нас дошло одно шуточное стихотворение Л. Н-ча, написанное им для почтового ящика. Мы восстанавливаем его по нескольким вариантам:

При погоде, при прекрасной
Жили счастливо все в Ясной.
Жили веселясь.
Вдруг пришло на мысль Татьяне,
Что во Ясной во Поляне
Нельзя вечно жить.
Говорит себе Татьяна:
Нужно поздно или рано
Детям аттестат.
Отдам девочек в науку.
Произведу во всяку штуку.
Будут за мамзель.
Накупили книг, тетрадей,
Рады девочки, не рады,
Стали обучать.

И учили без печали.
Но, когда закон начали,
Дело не пошло.
Никак Маша не усвоит.
А уж Вера в голос воет:
Не люблю закон.
И бедняжка, разбирая
Смысл изгнания из рая,
Вера говорит:
Нам велят учить закон.
Как Адама выгнал вон
Вместе с Евой бог.
А учить это обидно,
Потому что ясно видно,
Que ce n'est pas vrai.
Ведь за что изгнан Адам?
Говорит сама madame
За curiosite,
Так за то их и прогнали.
Что они много узнали.
А я не хочу.
И не знает теперь мать,
Что на это отвечать.
Точно, мудрено!

Осенью вся семья Л. Н-ча стала собираться в Москву. Вероятно, видя неизбежность ежегодных переездов семьи в Москву, в видах хозяйственной экономии, чтобы не платить за дорогую квартиру, Л. Н-ч решил приобрести в Москве

свой дом. Выбор его пал на Долго-Хамовнический переулок, где и был куплен дом с садом. В доме для переезда семьи Толстых был сделан капитальный ремонт, которым руководил сам Л. Н-ч, и при переезде в октябре в Москву всей семьи он был уже раньше там, встретил их на вокзале и привез в новый дом.

Вот что пишет об этом переезде гр. С. А. своей сестре:

«14 октября 1882 года... Приехали мы с Москву 8 октября. Поехали в Бибиковой карете на Козловку. Ехали благополучно, в Москве Левочка нас встретил с двумя каретами; дома был и обед, и чай, и фрукты на столе. Но я от дороги и недельной укладки до того устала и пришла в свое раздражение, и ничего меня не радовало, а напротив. Дома тут все устроено удобно и хорошо; сад всех нас приводит в восторг; верх, т. е. парадные комнаты, еще не совсем готовы и, пожалуй, раньше месяца так и не устроиться. Но мы без них совершенно свободно обходимся, сидим больше в моей и Таниной комнате. Левочка был очень весел и оживлен сначала; теперь он учится по-еврейски и стал что-то мрачнее».

Н. Н. Страхов, находившийся в постоянных сношениях со Л. Н-чем, пишет в это время (5 ноября 1882 г.) своему другу Н. Я. Данилевскому:

«...Лев Николаевич Толстой в хорошем духе. Купил дом в Москве, устроился и, как он пишет, успокоился. Изучает еврейский язык. Я очень радуюсь за него, мне все страшно о нем думать; так горячо он живет, с напряжением, с волне-

нием».

К этому же времени относится следующее интересное письмо Л. Н-ча к его другу В. И. Алексееву:

«Милый друг!

Только что видел вас во сне и хотел писать вам, как получил ваше письмо. Я скучаю по вас часто, но радуюсь, что вам хорошо, никогда не думая, что вам не хорошо. Ваш удел очень, очень счастливый. Разумеется, счастье все в себе. Но по внешним условиям – можно жить и в самых тяжелых условиях, в самой гуще соблазнов, можно в средних и в самых легких. Вы почти в самых легких. Мне бог никогда не давал таких условий, завидую вам часто, любовно завидую, но завидую...

У нас в семье были нездоровы, но теперь все хорошо и более или менее по-старому. Сережа много занимается и верит в университет. Таня полудобрая, полусерьезная, полумная, – не делается хуже, скорее делается лучше. Илюша ленится, растет, и еще душа его не задавлена органическими процессами. Леля и Маша мне кажутся лучше, они не захватили моей грубости, которую захватили старшие, и мне кажется, что они развиваются в лучших условиях и потому лучше и добрее старших. Малыши славные мальчики, здоровые. Я довольно спокоен, но грустно часто от торжествующего самоуверенного безумия окружающей жизни. Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие, а

они совершенно лишены возможности понять свое безумие и свои ошибки, и мы так стоим друг против друга, не понимая друг друга и удивляясь и осуждая друг друга. Только их легион, а я один; им как будто весело, а мне как будто грустно. Все это время я очень пристально занимался еврейским языком и выучил его почти, читаю уж и понимаю. Учит меня раввин здешний, Минор, очень хороший и умный человек. Я очень много узнал благодаря этим занятиям, а главное, очень занят. Здоровье мое слабеет и очень часто хочется умереть, но знаю, что это дурное желание – это второе искушение. Видно, я не пережил еще его.

Прощайте, мой друг, дай вам бог того, что у меня бывает в хорошие минуты, вы это знаете, лучше этого ничего нет».

Раввин Минор, о котором пишет Л. Н-ч в предыдущем письме, так рассказывал об этом уроке немецкому биографу Л. Н-ча, Левенфельду:

«Пять или шесть лет тому назад, – точно я вам не могу сказать, – ко мне пришел гр. Л. Толстой. Он попросил меня рекомендовать ему кого-нибудь для обучения его еврейскому языку. Мысль изучить еврейский язык была навеяна ему его изучением Библии. Для меня он был, конечно, не первый встречный, и я сам предложил быть его учителем. Толстой с большим усердием принялся за работу. Я обучал его по методу восточных евреев. Следовательно, он читал не как испанские, а как мы, русские евреи. Толстой схватывал

необыкновенно быстро. Но он читал только то, что ему было нужно. То же, что его не интересовало, он проходил мимо. Мы начали первыми словами Библии и дошли с такого рода пропусками до Исаяи. Здесь обучение прекратилось. Предсказание о Мессии в известных местах этого пророка было для него достаточно. Грамматикой языка он занимался только постольку, поскольку это казалось ему необходимым. Также в самое короткое время изучил он и греческий язык и вполне может читать Новый Завет в подлиннике.

Он знает также и Талмуд. В своем бурном стремлении к истине он почти за каждым уроком расспрашивал меня о моральных воззрениях Талмуда, о толковании талмудистами библейских легенд и, кроме того, еще черпал свои сведения из написанной на русском языке книга «Мировоззрение талмудистов», изданной петербургским обществом для поднятия образования среди евреев.

Около получаса мы работали как ученик и учитель, один раз в неделю я ездил к графу, другой раз он приходил ко мне. Через полчаса обучение превращалось в разговор. Я отвечал ему на вопросы, которые занимали его. Однажды мы пришли к его пониманию существования мира любовью. «Об этом, – сказал он, – нет ни одного слова в Библии». Я указал ему на третий стих псалма 89-го, который я перевел ему так: «Мир существует любовью». Он был очень удивлен таким переводом известного места».

Сын Минора передавал мне, что он помнит эти уроки,

когда он был еще мальчиком. Он помнит споры отца со Львом Николаевичем о том или другом понимании еврейского текста. Он помнил также удивление отца его, когда после немногочисленных уроков Л. Н-ч стал настолько хорошо читать и понимать прочитанное и с такой проникательностью вдумываться в смысл текста, что иногда в спорах с ним ученый раввин должен был соглашаться с мнением своего ученика.

Н. Н. Страхов сообщает свое мнение об этой работе Л. Н-ча своему другу Н. Я. Данилевскому.

19 июля 1883 г. он пишет ему из Ясной Поляны:

«...Л. Н. Толстой (может быть, вы слышали) выучился за эту зиму по-еврейски, и это уже помогает ему в понимании писания, главном его занятии.

Иные из его открытий в этом деле и поразительны своею верностью, и приводят к важным, глубоким результатам. Не подозревайте меня в пристрастии, я, вы знаете, не легко отдаюсь новым взглядам. Но напрасно я ищу у его ведомых и неведомых противников какого-нибудь основного возражения. Положительная сторона его понимания христианства несомненна, но в отрицательной есть много слабых мест и преувеличений».

Не так сочувственно относится к этой грандиозной работе Л. Н-ча его супруга.

Изучение Л. Н-чем еврейского языка ей казалось какою-то физической и духовною погибелью.

Она пишет сестре в том же 1882 г.:

«Левочка учится по-еврейски читать, и меня это очень огорчает; тратит силы на пустяки. От этого труда и здоровье, и дух стали хуже, и меня это еще более мучит, а скрыть своего недовольства я не могу».

И потом в одном из следующих писем:

«...Левочка – увы! – направил все свои силы на изучение еврейского языка, ничего его больше не занимает и не интересуется. Нет, видно, конец его литературной деятельности, а очень, очень жаль».

К этому же времени относится интересное письменное знакомство Л. Н-ча с революционером М. А. Энгельгардом, который прислал Л. Н-чу свою статью в христианско-революционном духе.

В своей книге «В чем моя вера?» Л. Н-ч так говорит об этом:

«Недавно у меня в руках была поучительная переписка православного славянофила (Аксакова) с христианином-революционером. Один отстаивал насилие войны во имя угнетенных братьев, славян, другой – насилие революции во имя угнетенных братьев, русских мужиков.

Оба требуют насилия и оба опираются на учение Христа».

На письмо к нему Энгельгарда Л. Н-ч ответил длинным письмом с изложением своего мировоззрения и, главным образом, своего отношения к насилию и своего понимания заповеди о непротивлении злу насилием.

Мы приведем здесь только начало и конец этого письма, которые прибавляют несколько драгоценных черт к характеристике тогдашнего душевного состояния Л. Н-ча:

«Дорогой мой N. N! Пишу вам «дорогой» не потому, что так пишут, а потому, что со времени получения вашего первого, а особенно второго письма чувствую, что вы мне очень близки, и я вас очень люблю. В чувстве, которое я испытываю к вам, есть много эгоистичного. Вы, верно, не думаете этого, но вы не можете себе представить, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми, окружающими меня. Знаю, что претерпевый до конца спасен будет, знаю, что только в пустынях дано право пользоваться плодами своего труда или хоть видеть этот плод, а что в деле божьей истины, которая вечна, не может быть дано человеку видеть плод своего дела, особенно же в короткий период своей коротенькой жизни. Знаю все это и все-таки часто унываю, и потому встреча с вами и надежда, почти уверенность, найти в вас человека, искренно идущего по одной дороге со мной и к одной и той же цели, для меня очень радостна».

В кратких, сильных и искренних выражениях излагает ему Л. Н-ч смысл учения Христа и со свойственной ему прямотой ставит в конце своего письма столь многих людей смущающий вопрос:

«Ну, а вы, Лев Николаевич, проповедовать вы проповедуете, а как исполняете?»

И тотчас же, не щадя себя, с неподражаемою, до дна души идущею искренностью он так отвечает на этот вопрос:

«Я отвечаю, что я не проповедую и не могу проповедовать, хотя страстно желаю этого. Проповедовать я могу делом, а дела мои скверны. То же, что я говорю, не есть проповедь, а только опровержение ложного понимания христианского учения и разъяснение настоящего его значения. Значение его не в том, чтобы во имя его насилием перестраивать общество, значение его в том, чтобы найти смысл жизни в этом мире. Исполнение пяти заповедей даст этот смысл. Если вы хотите быть христианином, то надо исполнять эти заповеди, а не хотите их исполнять, то не толкуйте о христианстве вне исполнения этих заповедей. Но, говорят мне, если вы находите, что вне исполнения христианского учения нет разумной жизни, а вы любите эту разумную жизнь, отчего вы не исполняете заповедей? Я отвечаю, что виноват и гадок и достоин презрения за то, что я не исполняю. Но при этом не столько в оправдание, сколько в объяснение непоследовательности своей говорю: посмотрите на мою жизнь, прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнять. Я не исполнил и 1/10000 – это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Научите меня, как выпутаться из сети соблазнов, охвативших меня, помогите мне, и я исполню; но и без помощи я хочу и надеюсь исполнить. Обвиняйте меня, я сам это делаю, но обвиняйте меня, а не тот путь, по которому я

иду и который указываю тем, кто спрашивает меня, где, по моему мнению, дорога. Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяный, шатаюсь из стороны в сторону, то неужели от этого неверен путь, по которому я иду? Если неверен, покажите мне другой; если я сбиваюсь и шатаюсь, помогите мне, поддержите меня на настоящем пути, как я готов поддержать вас, а не сбивайте меня, не радуйтесь тому, что я сбился, не кричите с восторгом: вот он говорит, что идет домой, а сам лезет в болото. Да не радуйтесь же этому, а помогите мне, поддержите меня.

Ведь вы не черти из болота, а тоже люди, идущие домой. Ведь я один и ведь я не могу желать идти в болото. Помогите мне: у меня сердце разрывается от отчаяния, что мы все заблудились, и когда я бьюсь всеми силами, вы, при каждом отклонении, вместо того, чтобы пожалеть себя и меня, суете меня и с восторгом кричите: смотрите, с нами вместе в болоте.

Так вот мое отношение к учению и к исполнению. Всеми силами стараюсь исполнить и в каждом неисполнении не то что только каюсь, но прошу помощи, чтобы быть в состоянии исполнить, и с радостью встречаю всякого, ищущего путь, как и я, и слушаюсь его».

Мы видим из этого, какой борьбой, какими страданиями сопровождалось для Л. Н-ча рождение к его новой жизни, как был он порою одинок и с какою радостью встречал он ищущих света на том же пути, на котором стоял и он.

К сожалению, Л. Н-чу пришлось скоро разочароваться в этом друге, так как он пошел по другому пути.

Московская жизнь скоро дала себя знать и снова легла тяжелым камнем на душу Л. Н-ча, но он умел уже справляться с собою и так записывает в своем дневнике 22 дек. 1882 г.:

«Опять в Москве. Опять пережил муки душевные, ужасные, больше месяца. Но не бесплодные. Если любишь божье добро (кажется, я начинаю любить его), любишь, т. е. живешь им – счастье в нем, жизнь в нем видишь, то видишь и то, что тело мешает добру истинному. Не добру самому, но тому, чтобы видеть его, видеть плоды его. Станешь смотреть на плоды добра, перестанешь его делать, мало того, тем, что смотришь, портишь его, тщеславишься, унываешь. Только тогда то, что ты сделал, будет истинным добром, когда тебя не будет, чтобы портить его. – Но заготовляй его больше. Сей, сей, зная, что не ты, человек, пожнешь. Один сеет, другой жнет. Ты, человек, Л. Н., не сожнешь. Если станешь не только жать, но полоть, испортишь пшеницу, – сей, сей. И если сеять божье, то не может быть сомненья, что оно вырастет. То, что прежде казалось жестоким, то, что мне не дано видеть плодов, теперь ясно, что не только не жестоко, но благо и разумно. Как бы я узнал истинное благо божье от неистинного, если бы я, человек плотский, мог пользоваться его плодами? Теперь же ясно: то, что ты делаешь, не видя награды, а делаешь любя, то, наверное, божье – сей и сей, и божье возрастает, и пожнешь не ты, человек, а то, что в тебе

сеет».

Глава 20. «В чем моя вера?»

Зиму 1882–1883 года Л. Н-ч проводил в Москве, со своей семьей, уезжая иногда для отдыха в Ясную Поляну. Повидимому, отношение его к окружающему стало смягчаться, он овладел собой и становился спокойнее. Это не замедлило отразиться на отношении к нему семьи. Вот что пишет С. А. своей сестре 30 января 1883 года:

«Левочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи, иногда прорываются у него речи против городской и вообще барской жизни. Мне это больно бывает: но я знаю, что он иначе не может. Он человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. А я, толпа, живу с течением толпы, вместе с толпой вижу свет фонаря, который несет всякий передовой человек и Левочка, конечно, тоже, и признаю, что это свет. Но не могу идти скорее, меня давит и толпа, и среда, и мои привычки».

Эти «какие-то статьи» была «В чем моя вера?», которую тогда Л. Н-ч с увлечением писал.

Мы вернемся еще к этому, быть может, наиболее сильно-му произведению Л. Н-ча, завершившему, так сказать, развитие его религиозного мирозерцания.

Рано весной, в апреле, он уезжает в Ясную Поляну и там становится свидетелем народного бедствия, к сожалению, так часто посещающего русские деревни. В Ясной Поляне

был большой пожар, уничтоживший большую часть деревни. Вот как пишет Л. Н-ч об этом С. А., очевидно, принимая самое горячее участие в помощи погорелым и приглашая семью к участию в этой помощи.

Апрель 1883 года.

«Очень жалко мужиков. Трудно представить себе все, что они перенесли и еще перенесут. Весь хлеб сгорел. Если на деньги счесть потерю, то это больше 10000. Страховых будет тысячи две, а остальные надо все заводить нищим и заводить все то, что нужно, необходимо только для того, чтобы не умереть с голоду. Я еще никого не видал, кроме Филиппа, Митрофана и Марьи Афанасьевны. Пошли Сережу в Государственный банк узнать, какую нужно бумагу или доверенность, чтобы получить билеты, если они понадобятся.

...Сейчас ходил по погорелым. И жалко, и страшно, и величественно – эта сила, эта независимость, и уверенность в своей силе, и спокойствие. Главная нужда теперь – овес на посев.

Скажи Сереже брату, если его это не стеснит, не может ли он мне дать записку в Пирогово на сто четвертей овса. Цена пусть будет та самая высшая, за какую он продает. Если он согласен, то пришли эту записку или привези. Даже ответ телеграммой, даст ли Сережа записку на овес, потому что, если он не даст, надо распорядиться купить».

В мае Л. Н-ч отправляется в свое самарское имение, и в

его письмах оттуда к С. А. уже чувствуется перемена, происшедшая в нем.

1883 года, май.

«Погода здесь прекрасная. Степь зеленая и веселая, и ожидания урожая хорошие. Я хожу помногу, и когда сижу дома, читаю библию *toujours avec un nouveau plaisir*.

Я в серьезном, не веселом, но спокойном духе и не могу жить без работы. Вчера проболтался день, и стало стыдно и гадко, и нынче занимаюсь.

...Не знаю, как дальше, но мне теперь неприятно мое положение хозяина и обращение бедных, которых я не могу удовлетворить. Мне хоть и совестно и противно думать о своем поганом теле, но кумыс, знаю, что мне будет полезен, главное, тем, что мне справит желудок, и потому нервы и расположение духа, и я буду способен больше делать, пока жив, и потому хотелось бы пожить дольше, но боюсь, что не выдержу. Может быть, перееду на Каралык, там я буду независимее.

...Мне интересно было себя примерять к здешней жизни. Кажется, я недавно был, а ужасно изменился, и хоть ты и находишь, что к худшему, я знаю, что к лучшему, потому что мне покойнее и что мне приятнее быть с таким человеком, какой я теперь, чем я был прежде. Дорогой видел много переселенцев. Очень трогательное и величественное зрелище».

Сношения его с самарскими молоканами продолжаются.

12 июня он пишет:

«...Нынче ездил с Вас. Ив. в Патровку и Гавриловку по делу сдачи земли и долго беседовал с молоканами, разумеется о христианском законе. Пускай доносят. Я избегаю сношений с ними, но сойдясь, не могу не говорить того, что думаю».

Интересна беглая характеристика лиц, составлявших население соседнего хутора Б., которую дает Л. Н-ч в своем письме к С. А. 8 июня:

«...Последнюю неделю я все возился с мужиками, а теперь эти последние дни другое. Кроме всех жителей, здесь наехали еще гости к Бибикову: два человека, бывшие в процессе 193, и вот последние дни я подолгу с ними беседовал. Я знаю, что им этого хочется, и думаю, что не имею права удаляться от них. Может быть, им полезно, а мне тяжелы эти разговоры. Это люди, подобные Б. и В. И., но моложе. Один особенно, крестьянин (крепостной бывший) Лазарев, очень интересен. Образован, умен, искренен, горяч и совсем мужик и говором, и привычкой работать. Он живет с двумя братьями-мужиками, пашет и жнет и работает на общей мельнице. Разговоры, разумеется, вечно о насилии, им хочется отстоять право насилия; я показываю им, что это безнравственно и глупо. Они вот все эти дни ходят табуном то к Б., то к В. И. Я удаляюсь от них; но два раза подолгу беседовали».

27 июня С. А. пишет:

«Я все читаю твою статью или, лучше, твое сочинение. Конечно, ничего нельзя сказать против того, что хорошо быть совершенными и непременно надо напоминать людям, как надо быть совершенными и какими путями достигнуть этого. Но все-таки не могу сказать, что трудно отбросить все игрушки в жизни, которыми играешь, и всякий, и я больше других, держу эти игрушки крепко и радуюсь, как они блестят и шумят и забавляют.

А если не отбросим, не будем совершенны, – не будем христиане, не отдадим кафтана, и не будем любить всю жизнь одну жену, и не бросим оружия, потому что за это нас запрут».

В этом искреннем сознании приверженности своей к мирской жизни С. А. забыла одну важную, характерную черту христианского учения, так ясно выраженную Л. Н-чем в его произведениях. Христианство не есть временное состояние человека (как бы низко или высоко оно ни было по сравнению с окружающими), а путь, движение от низшего к высшему, бесконечное развитие духовных сил человека. Поэтому-то величайший праведник и пророк, умирая на кресте за провозглашенную им истину, мог сказать умирающему рядом с ним презренному преступнику, в котором блеснул луч сознания: «днесь будеши со мною в раю».

А в это время вдали от родины угасала жизнь другого ве-

ликого художника, тонкого, искреннего, хотя и строгого ценителя Л. Н-ча, – Ивана Сергеевича Тургенева.

Чувствуя приближение смерти, он думал и болел душою о своем великом современнике, которого «нянькой старой» когда-то считал себя.

В конце июня он пишет Л. Н-чу письмо, хорошо знакомое русской публике по многочисленным его перепечаткам, в котором И. С. Тургенев в первый раз дает Л. Н-чу с тех пор оставшийся за ним титул «великого писателя русской земли». Вот это замечательное письмо:

«Толстому, гр. Л. Н-чу. Буживаль. 27 или 28 июня 1883 г.

Милый и дорогой Лев Николаевич! Долго вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою последнюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности. Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует!.. Я же человек конченный, доктора даже не знают, как назвать мой недуг, *nevralgie stomacale gouteuse*. Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это. Друг мой, великий писатель русской земли, внимлите моей просьбе. Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять вас, вашу жену, всех

ваших... Не могу больше... Устал».

Письмо это было последним из дошедших до нас писем И. С. Тургенева. Оно пришло в начале июля, когда Л. Н-ч еще был на кумысе. Для Л. Н-ча вопрос о возвращении и невозвращении к литературной деятельности или вовсе не существовал, или был гораздо глубже и шире и не мог втиснуться в узкую рамку исполнения дружеской просьбы, и потому, вернувшись с кумыса и прочитав письмо Тургенева, он не в состоянии был скоро ответить ему. Ему пришлось бы пересказать все те мучительные пережитые им перипетии, которыми он дошел до теперешнего сознания и которые, в сущности, знал, но не мог или не хотел понять Тургенев.

22 августа И. С. Тургенева не стало. Смерть эта сильно поразила Л. Н-ча и духовно приблизила к нему.

В сентябре семья Л. Н-ча переехала в Москву, а он остался в Ясной Поляне один и в своем уединении готовился к совершению важного шага.

Он получил повестку о назначении его присяжным заседателем в Крапивну в предстоящую сессию окружного суда.

Об этом назначении своем он не сказал никому из семейных, боясь, что волнения их нарушат ту работу сознания, которая должна была решить тот или другой его поступок.

Но когда решительный шаг был совершен, Л. Н-ч вкратце сообщил об этом С. А-не в следующем письме:

«...Сегодня приехал из Крапивны. Я ездил туда по вызову в присяжные. Я приехал в третьем часу. Заседание уже

началось, и на меня наложили штраф в 100 р. Когда меня вызвали, я сказал, что не могу быть присяжным. Спросили: почему? Я сказал: по религиозным убеждениям. Потом другой раз спросили: решительно ли я отказываюсь? Я сказал, что не могу, и ушел. Все было очень дружелюбно. Нынче, вероятно, наложат еще двести рублей, и не знаю, кончится ли все этим. Я думаю, что да. В том, что я именно не мог поступить иначе, я уверен, что ты не сомневаешься, но, пожалуйста, не сердись на меня за, то, что я не сказал тебе, что я был назначен присяжным. Я бы тебе сказал, если бы ты спросила или пришлось; но нарочно говорить тебе мне не хотелось. Ты бы волновалась, меня бы встревожила, а я и так тревожился и всеми силами себя успокаивал. Остаться или вернуться в Ясную я и так хотел, а тут и эта причина была, так ты, пожалуйста, не сердись. Мне можно было совсем не ехать. Тогда были бы те же штрафы, а в следующий раз опять бы меня потребовали. Но теперь я сказал раз навсегда, что не могу быть. Сказал я самым мягким образом и даже такими выражениями, что никто мужики не поняли. Из судейских я никого не видал».

Этот скромный поступок еще мало оценен современниками. А между тем его следует почитать днем объявления войны всему старому строю, державшемуся на насилии, объявления войны насилию со стороны Разума и Любви. Это произошло 28 сентября 1883 г.

В это время умственный интерес Л. Н-ча сосредоточивался на двух вещах: на писании своего основного сочинения «В чем моя вера?» и на чтении сочинений И. С. Тургенева. Редактор «Русской мысли» Юрьев обратился ко Л. Н-чу от имени Общества любителей российской словесности с просьбой прочесть на готовящемся торжественном заседании общества что-нибудь о недавно умершем писателе. Л. Н-ч сердечно отозвался на эту просьбу и принялся за чтение произведений Тургенева, чтобы осветить в своей памяти впечатление от его творчества.

Как проводил это время в Ясной Л. Н-ч, мы узнаем из его письма к С. А.:

«Жизнь моя как заведенные часы. Проснусь в 9, пойду в Заказ, вернусь, напьюсь кофею, сяду за работу часов в 11. И сижу до половины 4-го и опять пойду на Заказ до обеда. Обедаю, читаю Тургенева. Придет Агафья Мих., пью чай, пишу тебе, погуляю при лунном свете и ложусь спать. И это самое дурное время. Долго не могу заснуть»

В следующем письме он пишет:

«...О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю. Я все с ним живу; непременно или буду читать, или напишу и дам прочесть о нем, скажи так Юрьеву. Но лучше 15-го.

...Сейчас читал тургеневское «Довольно». Прочти, что за прелесть».

С. А. сообщает своей сестре о предполагавшемся публич-

ном чтении Л. Н-ча:

«23 октября Левочка будет публично читать о Тургеневе, это теперь уже волнует всю Москву, и будет толпа страшная в актовом зале университета в Обществе любителей русской словесности. Мне готовят 4 почетных места в самой середине 1 ряда».

Но – увы! – темные силы неусыпно работали и совершали новое злодеяние. Публичное свидетельство Толстого о Тургеневе, вызванное в нем самым сердечным воспоминанием об умершем, было запрещено.

Графиня С. А. в письме к сестре своей от 24 октября отражает возмущенное общественное мнение по поводу этого запрещения:

«Милая Таня, как ты это, верно, видела из газет и знаешь из слухов, чтение в память Тургенева запретили из вашего противного Петербурга. Говорят, что это Толстой (министр) запретил; ну да что от него может быть, как не бестактные, неловкие выходки. Представь себе, что это чтение должно было быть самое невинное, самое мирное; никто не только не думал о том, чтобы выстрелить какой-нибудь либеральной выходкой, но даже все страшно удивились, что же могло быть сказано? Где могла бы быть противоправительственная опасность? Теперь, конечно, все могут предположить. Публика взволнована, подозревают чуть ли не замысел целой революционной выходки. Юрьев был у нас как-то, и я слышала, как он рассказывал, что и как будет читаться. Левочка

говорит, что ему писать речь некогда, но что он будет говорить, и то, что он хотел сказать, так же невинно, как сказка о Красной Шапочке.

Но мне и всей Москве было ужасно досадно. Озлоблены все без исключения, кроме Левочки, который даже рад, что избавлен явиться в публике, это ему так непривычно. Он на днях едет на неделю в Ясную; хочет порошу застать. Он все пишет, но печатать не придется».

А между тем писание «В чем моя вера?» подвигалось к концу и после многих переделок переписывалось набело.

С. А. пишет своей сестре 9 ноября 1883 года:

«...Только насчет рукописи я от Левочки ее не добила. Он говорит: напиши Саше, что двух слов подряд не осталось из старой рукописи – все переделано. Что в настоящее время переписывается она в двух экземплярах, что он желает ее тебе прислать в настоящем исправленном виде. Кроме того, книга эта печатается, и если будет возможно, мы вам пришлем печатный экземпляр. Теперь, вероятно, скоро все будет готово. Левочка уехал в Ясную Поляну на неделю. Он там будет охотиться и отдыхать».

Из Ясной Поляны Л. Н-ч писал своей жене:

«...Здесь через князя получил письмо от одной Смирновой и маркиза St. Ives Парижского. Очень интересно. Он член общества вечного мира и пишет книгу против войны и революции, la mission des Souverains и кажется, что настоя-

щий.

...Я читаю и Стендаля, и Энгельгарда. Энгельгард – прелесть. Это нельзя достаточно читать и хвалить. Контраст нашей жизни и настоящей жизни мужиков, про которую мы так старательно забываем. Для меня это одна из тех книг, которые освобождают меня от части того, что я чувствую себя обязанным сделать. Но он сделал, и никто не читает. Или читают и говорят: «Да что, он социалист». А он и не думал быть социалистом, а говорит, что есть.

...Нынче я один. Был только Дм. Фед. (Разговаривали о том, как он живет сам-семь на 11 руб. в месяц. Живет!)

...Читаю Стендаля «Rouge et Noir». Лет сорок тому назад я читал это, но ничего не помню, кроме моего отношения к автору: симпатия за смелость, родственность, но неудовлетворенность. И страшно, то же самое чувство теперь, но с ясным сознанием отчего и почему».

Н. Н. Страхов в 1883 году написал биографию Ф. М. Достоевского и послал ее при письме своем Л. Н-чу. Тот ответил ему следующим интересным письмом:

«Дорогой Николай Николаевич! Я только начинал скучать о том, что давно не имею от вас известий, как получил вашу книгу и письмо и книги. Очень благодарен вам за все и за еврейскую Библию, которую я с радостью получил давно и, мне кажется, уже благодарил вас за нее. Сколько я вам должен? Когда увидимся? Не приедете ли вы в Москву? Книгу вашу прочел. Письмо ваше очень грустно подействовало на

меня, разочаровало меня. Но я вас вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам. Мне кажется, вы были жертвой ложного, фальшивого отношения к Достоевскому не вами, но всеми – преувеличения его значения и преувеличения по шаблону возведения в пророки и святого – человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба. Из книги вашей я в первый раз узнал всю меру его ума. Книгу Пресансе я тоже прочитал, но вся ученость пропадает от заговоздки. Бывают лошади-красавицы: рысак цена 1000 руб., и вдруг заминка; и лошади-красавице, и силачу цена грош. Чем я больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. И забавно, за то, что он был без заминки и свезет, а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву. И Пресансе, и Достоевский – оба с заминкой. И у одного вся ученость, у другого ум и сердце пропали ни за что. Ведь Тургенев и переживет Достоевского и не за художественность, а за то, что без заминки. Обнимаю вас от всей души. Ах, да, со мной случилась беда, задевшая и вас. Я ездил на недельку в деревню в половине октября и, возвращаясь от вокзала до дому, выронил из саней чемодан. В чемодане были книги, рукописи и корректуры. И книга одна пропала ваша: 1-й том Гризбаха. Все объявления ни к чему не привели. Надеюсь еще найти у букинистов. Я знаю, что вы

простите мне, но мне и совестно, и досадно лишиться книги, которая мне всегда нужна».

В числе рукописей, пропавших в потерянном чемодане, было несколько глав из «В чем моя вера?», которые Л. Н-чу пришлось написать вновь. Внутренняя сила, побуждавшая его писать эту книгу, была так велика, что эта пропажа была почти не замечена, пропавшие главы были восстановлены, и печатание шло своим порядком, без перерыва.

Лев Николаевич, сознавая, что его писание не будет одобрено «взявшими себе ключи царства небесного», рискнул все же печатать «В чем моя вера?» без предварительной цензуры, в количестве 50 экз., назначив большую цену, чтобы ясно показать, что книга эта печатается не для всеобщего употребления, и тем спасти ее. Но все было напрасно.

29 января 1884 года С. А. сообщает Л. Н-чу, жившему тогда в Ясной Поляне:

«Маракуев сказал, что книгу твою новую цензура светская передала в цензуру духовную, что архимандрит, председатель цензурного комитета, ее прочел и сказал, что «в этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он, со своей стороны, не видит причины не пропустить ее». Но я думаю, что Победоносцев со своей бестактностью и педантизмом опять запретил; пока она запечатана у Кушнерева и решения никакого нет».

Через три дня она к этому сообщению прибавляет:

«Дядя Костя в твоей комнате все читает твое сочинение,

о котором, между прочим, еще ничего не слышать. Хвалил же его, как я тебе писала, наверное, отец Амфилохий, может быть, ты его знаешь».

Вопрос вскоре разъяснился: Победоносцев запретил эту книгу. Но вызванный ею интерес не дал ему возможность уничтожить, сжечь ее, как то следовало по закону. Все издание было вытребовано в Петербург и роздано по рукам различным сановникам и их приближенным, где и читалось с большим интересом. Нам вполне понятно опасение Победоносцева. Он сделал все, что мог, чтобы затушить возгоревшееся священное пламя. Но сил на это у него не хватало. «Дух дышит, где хочет» и не подчиняется указам обер-прокурора. Сочинение это стало быстро распространяться в многочисленных копиях, литографиях и гектографиях. Вскоре оно было издано за границей на русском языке, было переведено на все европейские языки, а через 20 лет появилось в печати и в России.

Это сочинение, едва ли не самое сильное из написанных Л. Н-чем за последнее время, подобно многим его другим произведениям, о которых мы уже говорили; оно не есть только литературное произведение, а есть огромной важности жизненный факт. И с этой точки зрения мы и рассмотрим его.

Вот что он говорит во введении:

«Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14 или 15 детских, 35 лет я прожил нигилистом в настоящем значе-

нии этого слова, т. е. не социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия всякой веры.

Пять лет тому назад я поверил в учение Христа, и жизнь моя вдруг переменялась: мне перестало хотеться того, что прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мной случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг решил, что дело это ему совсем не нужно, и повернул домой. И все, что было справа, стало слева, и все, что было слева, стало справа: прежнее желание – быть как можно дальше от дома – переменялось на желание быть как можно ближе от него. Направление моей жизни – желания мои стали другие: и доброе, и злое переменялось местами. Все это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как я понимал его прежде.

Я не толковать хочу учение Христа, а хочу только рассказать, как я понял то, что есть простого, ясного, понятного и несомненного, обращенного ко всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастье.

Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его.

Разбойник на кресте поверил в Христа и спасся. Неужели было бы дурно и для кого-нибудь вредно, если бы разбойник

не умер на кресте, а сошел бы с него и рассказал людям, как он поверил в Христа?

Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастья, в котором я нахожусь теперь.

Я, как разбойник, знал, что жил и живу скверно, видел, что большинство людей вокруг меня живет так же. Я так же, как разбойник, знал, что я несчастлив и страдаю и что вокруг меня люди также несчастливы и страдают, и не видал никакого выхода, кроме смерти, из этого положения. Я так же, как разбойник к кресту, был пригвожден какой-то силой к этой жизни страданий и зла. И как разбойника ожидал страшный мрак смерти после бессмысленных страданий и зла жизни, так и меня ожидало то же.

Во всем этом я был совершенно подобен разбойнику, но различие мое от разбойника было в том, что он умирал уже, а я еще жил. Разбойник мог поверить тому, что спасение его будет там, за гробом, а я не мог поверить этому, потому что, кроме жизни за гробом, мне предстояла еще и жизнь здесь. А я не понимал этой жизни. Она мне казалась ужасною. И вдруг я услышал слова Христа, понял их, и жизнь и смерть перестали мне казаться злом, и вместо отчаяния я испытал радость и счастье жизни, ненарушимые смертью.

Неужели для кого-нибудь может быть вредно, если я расскажу, как это случилось со мною?»

После многих тщетных исканий истины, о которых мы уже упоминали при описании его душевного кризиса, Л. Н-ч, как он сам говорит в своей книге «В чем моя вера?», остался опять один со своим сердцем и с таинственной книгой пред собою.

«Я не мог дать ей того смысла, который давали другие, и не мог придать иного, и не мог отказаться от нее. И только изверившись одинаково и во все толкования ученого богословия и откинув их все, по слову Христа: если не примете меня как дети, не войдете в царствие божие... я понял вдруг то, чего не понимал прежде. Я понял не тем, что я как-нибудь искусно, глубокомысленно переставлял, сличал, перетолковывал; напротив, все открылось мне тем, что я забыл все толкования. Место, которое было для меня ключом всего, было место из 5-й главы Мф. ст. 39: «Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам: не противьтесь злему». Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорю. И тотчас не то что появилось что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину, и истина восстала предо мною во всем ее значении. «Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злему». Слова эти показались мне вдруг совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде».

Это открытие и составляет главный, центральный предмет содержания книги.

Простоту, непосредственный смысл этих слов и неожиданность открытия их Л. Н. уподобляет библейскому сказанию о явлении бога пророку Илье:

«Илья-пророк, убегая от людей, скрылся в пещере, и ему было откровение, что бог явится ему у входа пещеры. Сделалась буря – ломались деревья. Илья подумал, что это бог, и посмотрел, но бога не было. Потом началась гроза, гром и молния были страшные. Илья вышел посмотреть, нет ли бога, но бога не было. Потом сделалось землетрясение: огонь шел из земли, трескались скалы, валялись горы. Илья смотрел, но бога не было. Потом стало тихо, и легкий ветерок пахнул с освеженных полей. Илья смотрел, и бог был тут. Таковы и эти простые слова бога: не противиться злему».

Приняв так просто слова Христа, Л. Н-ч снова стал еще с большим вниманием, проникновением и увлечением читать Евангелие, прилагая к нему найденный ключ. Читая и перечитывая Нагорную проповедь, Л. Н-ч был поражен прежде ускользавшим от его внимания противопоставлением, которое делает Христос между старым и новым законом. «Вы слышали, что сказано древним... а я говорю вам». Для него стало очевидным, что в этом противопоставлении и заключается то новое слово, «новый завет», который был дан людям Христом. И вот, освобождая эти слова Христа от прибавок и искажений, сделанных в них церковными учителями

с очевидным намерением скрыть от людей режущую им самым глаза истину, Л. Н-ч сгруппировывает эти слова в пять заповедей Нагорной проповеди: «Не гневись, не блуди, не клянись, не противься злему и не воюй».

«И, поняв таким образом, – говорит он, – эти столь простые, определенные, не подверженные никаким перетолкованиям заповеди Христа, я спросил себя: что бы было, если бы христианский мир поверил в эти заповеди не в том смысле, что их нужно петь или читать для умилоствления бога, а что их нужно исполнять для счастья людей? Что было бы, если бы люди поверили обязательности этих заповедей хоть так же твердо, как они поверили тому, что надо каждый день молиться, каждое воскресенье ходить в церковь, каждую пятницу есть постное и каждый год говеть? Что было бы, если бы люди поверили в эти заповеди хоть так же, как они верят в церковные требования? И я представил себе, что всем нам и нашим детям с детства словом и примером внушается не то, что внушается теперь, что человек должен соблюдать свое достоинство, отстаивать перед другими свои права (чего нельзя сделать иначе, как унижая и оскорбляя других), а внушается то, что ни один человек не имеет никаких прав и не может быть ниже или выше другого; что ниже и позорнее всех тот, который хочет стать выше других; что нет более унижительного для человека состояния, как состояние гнева против другого человека; что кажущееся мне ничтожество или безумие человека не может оправдать мой гнев

против него и мой раздор с ним. Вместо всего устройства нашей жизни от витрины магазинов до театров, романов и женских нарядов, вызывающих плотскую похоть, я представил себе, что всем нам и нашим детям внушается словом и делом, что увеселение себя похотливыми книгами, театрами и балами есть самое подлое увеселение, что всякое действие, имеющее целью украшение тела или выставление его, есть самый низкий и отвратительный поступок. Вместо устройства нашей жизни, при которой считается необходимым и хорошим, чтобы молодой человек распутничал до женитьбы, вместо того, чтобы жизнь, разлучающую супругов, считать самой естественной, вместо узаконений сословия женщин, служащих разврату, вместо допускания и благословения развода, – вместо всего этого я представил себе, что нам словом и делом внушается, что одинокое безбрачное состояние человека, созревшего для половых сношений и не отрекшегося от них, есть уродство и позор, что покидание человеком той, с какою он сошелся, перемена ее для другой, есть не только такой же неестественный поступок, как кровосмешение, но есть и жестокий, бесчеловечный поступок. Вместо того, чтобы вся жизнь наша была установлена на насилии, чтобы каждая радость наша добывалась и ограждалась насилием, вместо того, чтобы каждый из нас был наказываемым или наказывающим с детства и до глубокой старости, я представил себе, что всем нам внушается словом и делом, что месть есть самое низкое животное чувство, что насилие есть не только

позорный поступок, но поступок, лишаящий человека истинного счастья, что радость жизни есть только та, которую не нужно ограждать насилием, что высшее уважение заслуживает не тот, кто отнимает или удерживает свое от других и кому служат другие, а тот, кто больше отдает свое и больше служит другим. Вместо того, чтобы считать прекрасным и законным то, чтобы всякий присягал и отдавал все, что у него есть самого драгоценного, т. е. всю свою жизнь в волю сам не зная кого, я представил себе, что всем внушается то, что разумная воля человека есть та высшая святыня, которую человек никому не может отдать, и что обещаться клятвой кому-нибудь в чем-нибудь есть отречение от своего разумного существа, есть поругание самой высшей святыни. Я представил себе, что вместо тех народных ненавистей, которые под видом любви к отечеству внушаются нам, вместо тех восхвалений убийства – войн, которые с детства представляются нам как самые доблестные поступки, я представил себе, что нам внушается ужас и презрение ко всем тем деятельности – государственным, дипломатическим, военным, – которые служат разделению людей, что нам внушается то, что признание каких бы то ни было государственных особенных законов, границ, земель есть признак самого дикого невежества, что воевать, т. е. убивать чужих, незнакомых людей без всякого повода, есть самое ужасное злодейство, до которого может прийти только заблудший и развращенный человек, упавший до степени животного. Я представил себе, что все

люди поверили в это, и спросил себя, что бы тогда было?»

И сам Лев Николаевич отвечает на этот так широко поставленный вопрос:

«При исполнении этих заповедей жизнь людей будет то, чего ищет и желает всякое сердце человеческое. Все люди будут братья, и всякий будет всегда в мире с другими, наслаждаясь всеми благами мира тот срок жизни, который уделен ему богом. Перекуют люди мечи на оралы и копья на серпы. Будет то царство бога, царство мира, которое обещали все пророки, и которое близилось при Иоанне Крестителе, и которое возвещал и возвестил Христос, говоря словами Исайи: «Дух господа на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым – прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето господне благоприятное» (Лук. 4, 18–19. Исайи 61, 1–2).

Отчего же люди не следуют этому учению? Главных причин этому две: церковные самозванные учителя сознательно и бессознательно скрывают и искажают это учение, лишают его силы и привлекательности.

А люди науки, большею частью лишенные религиозного чувства, справедливо считая церковное учение вредной и пустой ложью, ставят на его место свое, научное мировоззрение, уже лишенное того духа жизни, которым жило и живет человечество.

И жизнь остается та же, со всею ее нелепостью, грызней и

вечной угрозой смерти».

И затем он такими словами резюмирует эти два взаимоисключающие, ложные мировоззрения, несмотря на противоположность свою, сводящиеся, в сущности, к одному:

«Церковь говорит: учение Христа неисполнимо, потому что жизнь здешняя есть образчик жизни настоящей; она хороша быть не может, она вся есть зло. Наилучшее средство прожить эту жизнь состоит в том, чтобы презирать ее и жить верою, т. е. воображением, в жизнь будущую, блаженную, вечную, а здесь жить, как живется, и молиться.

Философия, наука, общественное мнение говорит: учение Христа неисполнимо, потому что жизнь человека зависит не от того света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов, и потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно с ним, а надо жить, как живется, твердо веруя, что по законам прогресса исторического, социологического и других после того, как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделается сама собою очень хорошей».

И он снова взывает к людям:

«Только бы люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им: Христос на облаках с трубным гласом, или исторический закон, или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не поможет, коли сами себе не поможем. А самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а самим перестать губить себя».

Но люди продолжают губить себя. В ярких, неподражаемых картинах изображает Л. Н-ч бедственность жизни не только темного рабочего люда, но и людей высшего, привилегированного сословия. И всех их называет мучениками мира в отличие от мучеников за исполнение учения Христа.

«Одна жизнь за другую бросаются под колесницу этого бога: колесница проезжает, раздирая эти жизни, и новые и новые жертвы со стонами и воплями и проклятиями валятся под нее».

И это происходит все от непринятия истинного учения Христа. И Л. Н-ч опять с новой стороны излагает, резюмирует учение Христа как единственный разумный выход из бедственности нашей жизни:

«Учение Христа как религия, определяющая жизнь и дающая объяснения жизни людей, стоит теперь так же, как оно 1900 лет тому назад стояло перед миром. Но прежде у мира были объяснения церкви, которые, заслоняя от него учение, все-таки казались ему достаточными для его старой жизни; а теперь настало время, что церковь отжила, и мир не имеет никаких объяснений своей новой жизни и не может не чувствовать своей беспомощности, а потому и не может теперь не принять учения Христа.

Христос прежде всего учит тому, чтобы люди верили в свет, пока свет еще в них. Христос учит тому, чтобы люди выше всего ставили этот свет разума, чтобы жили сообразно с ним, не делали бы того, что они сами считают неразумным.

Считаете неразумным идти убивать турок или немцев – не ходите; считаете неразумным насилием отбирать труд бедных людей, для того чтобы надевать цилиндр и затягиваться в корсет, или сооружать затрудняющую вас гостиную – не делайте этого; считаете неразумным развращенных праздностью и вредным сообществом сажать в остроги, т. е. в самое вредное сообщество и самую полную праздность – не делайте этого; считаете неразумным жить в зараженном городском воздухе, когда можно жить на чистом, считаете неразумным учить детей прежде всего и больше всего грамматикам мертвых языков – не делайте этого. Не делайте только того, что делает теперь весь наш европейский мир: жить и не считать разумным свои дела, не верить в свой разум, жить несогласно с ним.

Учение Христа есть свет. Свет светит, и тьма не обнимает его. Нельзя не принимать света, когда он светит. С ним нельзя спорить, нельзя с ним не соглашаться. С учением Христа нельзя не согласиться, потому что оно обнимает все заблуждения, в которых живут люди, и не сталкивается с ними, и, как эфир, про который говорят физики, проникает всех их. Учение Христа одинаково неизбежно для каждого человека нашего мира, в каком бы он ни был состоянии. Учение Христа не может быть не принято людьми не потому, что нельзя отрицать то метафизическое объяснение жизни, которое оно дает (отрицать все можно), но потому, что только оно одно дает те правила жизни, без которых не жило и не может жить

человечество, не жил и не может жить ни один человек, если он хочет жить как человек, т. е. разумною жизнью».

«Я верю в учение Христа, – торжественно заявляет Л. Н-ч в заключительной главе своей книги, – и вот в чем моя вера:

Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.

Я верю, что исполнение этого учения не только возможно, но легко и радостно.

Я верю, что и до сих пор, пока учение это не исполняется, что если бы и был один среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной гибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел дверь спасения.

Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа даст мне в этом мире то благо, которое предназначил мне отец жизни.

Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной гибели и дает мне наибольшее благо. А потому я не могу не исполнять его.

И вера эта налагает на меня обязанности:

Я верю, что разумная жизнь – свет мой на то только и дан мне, чтобы «светить перед людьми не словами, но добрыми делами, чтобы люди прославляли отца» (Мф. 5, 16). Я верю, что моя жизнь и знание истины есть талант, данный для работы на него, что этот талант есть огонь, который толь-

ко тогда огонь, когда он горит. Я верю, что я Ниневия по отношению к другим Ионам, от которых я узнал и узнаю истину, но что и я – Иона по отношению к другим ниневитянам, которым я должен передать истину. Я верю, что единственный смысл моей жизни – в том, чтобы жить в том свете, который есть во мне, и не оставить его под спудом, но высоко держать его перед людьми так, чтобы люди видели его».

Не оставив камня на камне своей критикой от прежней церкви, он в заключение всей книги говорит:

«Но церковь, составленная из людей не обещаниями, не помазанием, а делами истины и блага, соединенными воедино, – эта церковь всегда жила и будет жить. Церковь эта, как прежде, составляется не из людей, взывающих «господи, господи» и творящих беззаконие (Мф. 7, 21, 22), но из людей, слушающих слова сии и исполняющих их.

Люди этой церкви знают, что жизнь их есть благо, если они не нарушают единства сына человеческого, и что благо это нарушается только неисполнением заповедей Христа. И потому люди этой церкви не могут не исполнять этих заповедей и не учить других исполнению их.

Мало ли, много ли таких людей, но эта та церковь которую ничто не может одолеть, и та, к которой присоединятся все люди.

«Не бойся, малое стадо, ибо отец благоволит дать вам царство» (Лк. 12, 32).

Этими словами кончается книга.

И этой книгой закончился во Л. Н-че тот религиозный процесс, который сделал из него последователя Христа.

Глава 21. Заключительная

В то время, когда Л. Н-ч кончал «В чем моя вера?», он приобрел первого друга по близости понимания учения Христа и нашел в нем сильную поддержку в деле распространения этого учения. В конце 1883 года Л. Н-ч познакомился с В. Г. Чертковым.

По нашей просьбе В. Г. Чертков сообщил нам следующие свои воспоминания о своем знакомстве со Л. Н-чем.

«Не только духовное мое рождение, но и главный перелом в моей внешней жизни произошли до моего знакомства со Л. Н-чем или какими-либо из его религиозных писаний. В 1879 году я решил оставить военную службу, но по желанию отца взял 11-месячный отпуск, который провел в Англии. Потом 80-й год, опять по настоянию отца, я еще провел на службе в конной гвардии и как раз после 1 марта уехал в имение родителей в Воронежскую губернию для сближения с кормящим нас крестьянским населением и деятельности в его интересах. Там я прожил подряд несколько лет, изредка навещая моих родителей в Петербурге. И вот во время этих поездок я стал все чаще и чаще слышать от встречаемых мною собеседников, что Толстой, автор «Войны и мира», стал исповедовать точь-в-точь такие же взгляды, какие высказываю я. Это, разумеется, возбудило во мне потребность лично познакомиться с ним, что я и сделал проездом

через Москву в конце 1883 г.

Мы с ним встретились как старые знакомые, так как оказалось, что и он, со своей стороны, уже слышал обо мне от третьих лиц. Он в то время кончал свою книгу «В чем моя вера?» Помню, что вопрос об отношении истинного учения Христа к военной службе уже был тогда в моем сознании твердо решен отрицательно и что, будучи тогда очень одинок в этом отношении (о квакерах и других антимилитаристах я тогда еще не знал), я при каждом новом знакомстве на религиозной почве спешил предъявить этот пробный камень. Во Л. Н-че я встретил первого человека, который всецело и убежденно разделял такое же точно отношение к военной службе. Когда я ему поставил свой обычный вопрос, и он в ответ стал мне читать из лежащей на его столе рукописи «В чем моя вера?» категорическое отрицание военной службы с христианской точки зрения, то я почувствовал такую радость от сознания того, что период моего духовного одиночества, наконец, прекратился, что, погруженный в свои собственные размышления, я не мог следить за дальнейшими отрывками, которые он мне читал, и очнулся только тогда, когда, дочитав последние строки своей книги, он особенно отчетливо произнес слова подписи: «Лев Толстой».

Насколько мне известно, он также нашел во мне первого своего единомышленника. Понятно, что при этих условиях сразу завязавшаяся между нами тесная духовная связь должна была иметь совсем особенное для нас обоих значение: для

него – в смысле оценки и поддержки в нем со стороны другого того, что он сознавал в себе наилучшего и высшего, а для меня – еще и в том отношении, что я в нем обрел ничем не заменимую помощь в моем дальнейшем внутреннем развитии».

Говоря далее о своей переписке со Л. Н-чем на первых порах знакомства своего с ним, В. Г. Чертков добавляет:

«Его удивительно чуткое, внимательное отношение к ходу духовного развития в его молодом и почти единственном друге-единомышленнике; его скромность и опасения, мешающие ему давать просимые советы; его уважение и внимательность ко всякому мнению, хотя бы и критическому, если только оно исходит из христианской точки зрения; его преклонение перед христианским учением, выраженным в Нагорной проповеди, заставляющее его считать кощунством всякое прибавление к ней; его терпимость и боязнь прозелитизма, зарождение в нем и развитие проекта литературы для народа; его страдания от непонимания его окружающей его средою и мучительное сознание греховности той обстановки, в которой он жил... Все это и многое другое, обрисовывающее его тогдашний душевный облик, ярко выступает в этих интимных письмах».

В январе 1884 года Льва Николаевича посетил снова художник Н. Н. Ге, уже ставший его близким другом.

Отношения между ними стали настолько просты, что Л. Н-ча не стесняло присутствие старика Ге в его кабинете

во время его письменных занятий, – время, которое Л. Н-ч всегда проводил в уединении, тщательно оберегая его не только от посторонних, но даже и от своих семейных. И жена его, и все в доме всегда строго соблюдали и охраняли в это время его спокойствие. Н. Н. Ге воспользовался разрешением Л. Н-ча присутствовать при его писании и написал прекрасный портрет Л. Н-ча в позе пишущего. Как многие вещи Ге, он написал с тою любовью, которая улавливает самые драгоценные черты оригинала и делает это изображение особенно дорогим для тех, кому дорог самый оригинал.

Портрет этот находится в Третьяковской галерее и в нескольких копиях у друзей Л. Н-ча.

Между тем борьба Льва Николаевича с «миром» продолжалась. Не будучи в силах изменить тяжелую для него городскую обстановку жизни, он часто уезжал в деревню и там жил так, как требовала его совесть, доводя до крайней простоты свою обстановку и проводя время в труде, общении с народом, чтении, размышлении и писании.

Лето 1884 года проходит без особых перемен, и к осени семья Л. Н-ча снова тянется на обычную зимовку, в Москву.

В октябре Л. Н-ч поехал навестить своего друга Н. Н. Ге к нему на хутор, в Черниговскую губернию, пробыл там неделю и снова вернулся в Ясную, прожив там до глубокой осени; семья же без него переехала в Москву.

В это свое пребывание в Ясной Л. Н-ч сделал последнюю попытку руководства своей семейной жизнью. Видя,

какую нежелательную для него форму принимает домашняя жизнь и деревенское хозяйство, когда он стал отстраняться от него, он решил сам стать во главе его и так пишет об этом С. А-не:

Октябрь 1884 года.

«...Славно прошелся и много хорошего думал на обратном пути о том, что мне надо, пока мы живем, как мы живем, самому вести хозяйство. Начать с Ясной. У меня есть план, как его вести сообразно с моими убеждениями. Может быть, это трудно, но сделать это надо. Общее мое рассуждение такое: не говоря о том, что если мы пользуемся ведением хозяйства на ложных основаниях собственности, то надо вести его все-таки наилучшим образом в смысле справедливости, безбидности и, если можно, доброты; не говоря об этом, мне стало ясно, что если что я считаю истиною и законом людей, должно сделаться этим законом на деле в жизни, то это сделается только тем, что мы, богатые, насилующие, будем произвольно отказываться от богатства и насилия. И это произойдет не вдруг, а медленным процессом, который будет вести к этому. Процесс этот может совершаться только тогда, когда мы сами будем заведовать своими делами и, главное, сами входить в сношение с народом, работающим на нас. Я хочу попытаться это сделать. Хочу попытаться совершенно свободно, без насилия, а по доброте, сам вести это дело с народом в Ясной. Ошибки, потери большой, даже ни-

какой, я думаю, не будет, а, может быть, будет хорошее дело. Хотелось бы в хорошую минуту, когда ты слушаешь, рассказать тебе, а описать все трудно. Я думаю начать сейчас же принять все от Митрофана и наладить. И зимой приезжать изредка, а с весны постоянно заниматься. Может быть, тут, незаметно для меня, меня подкупает желание чаще бывать в деревне, но я чувствую, что моя жизнь была поставлена неправильно этим отвертыванием, игнорированием дела, которое делалось и делается для меня и совершенно противное всем моим убеждениям. В этом игнорировании-то и было то, что я по принципу, не признавая собственности перед людьми из *fausse honte*, не хотел заниматься собственностью, чтобы меня не упрекнули в непоследовательности. Теперь мне кажется, что я вырос из этого; я знаю в своей совести, насколько я последователен, но, душа моя, пожалуйста, имей в виду, что это дело очень для меня душевное, и необдуманно и сгоряча не возражай и не нарушай моего настроения. Я уверен, что вреда от этого никому не будет, а может выйти очень хорошее и важное».

В том же письме далее он описывает свои наблюдения во время путешествия в Тулу пешком:

«...Самое хорошее впечатление нынешнего дня, это – встреченные на дороге два старика, два брата из Сибири, идут без копейки денег из Афона и Старого Иерусалима. Вместе им 150 лет. Оба не едят мяса. Был у них дом с имуществом, который стоил 1100 руб.; когда они в первый раз

ушли, прошел слух, что они умерли, и дом передали в опеку. А опека разорила. Они пришли и подали прошение. Потом монах им сказал, что это грех, что по их прошению люди могут попасть в острог, что им лучше бросить, чем идти в Иерусалим. Они бросили, и вот остались ни с чем. У одного есть сын, и опять построил дом. Очень величественные и умильные старики. Я не видал, как от Рудакова дошел с ними до Тулы».

Сколько сил безвестных таится в народе русском! И кто учителя его! Монах сказал – и послушали. Не потому послушали, что монах, а потому что они сами знали, что так нужно, и когда услышали это от монаха, то так и сделали. Конечно, в общении с этими людьми Л. Н-ч находил больше удовлетворения, чем в общении с московской знатью.

В следующем письме С. А-не он снова говорит о своем намерении заняться хозяйством и еще определеннее высказывает, в каком направлении будут идти занятия:

Октябрь 1884 года.

«...Я затеваю очень трудное. – Именно заниматься хозяйством, имея в виду не главное хозяйство, а отношения с людьми в хозяйстве. Трудно не увлечься, не пожертвовать отношениями с людьми делу, а надо так, чтобы вести дело хозяйственно; но всякий раз, как вопрос: выгода или человеческие отношения? – избирать последнее. Я так плох, что чувствую свою неспособность к этому; но вышло так, что это

нужно, и сделалось само собой, и потому испробую».

В том же письме он пишет далее:

«...Нынче ходил по хозяйству, потом поехал верхом, собаки увязались за мной. Агафья Михайловна сказала, что без своры бросятся на скотину, и послала со мной Ваську. Я хотел попробовать свое чувство охоты. Ездить, искать по сорокалетней привычке очень приятно. Но вскочил заяц, и я желал ему успеха. А главное, совестно».

Таким образом, Л. Н-ч порывает с едва ли не самой сильной страстью, увлекавшею его в жизни, – с охотой.

И опять в том же письме он высказывает важные мысли, могущие служить руководством жизни всякому человеку. Обращаясь к С. А., он говорит:

«...Не могу я, душенька, не сердись, приписывать этим денежным расчетам какую-либо важность. Все это не событие, как например, болезнь, брак, рождение, смерть, знание приобретенное, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей нам дорогих и близких, а это наше устройство, которое мы устроили так и можем перестроить иначе и на сто разных манер. Знаю я, что это тебе часто, а детям всегда невыносимо скучно (кажется, что это все известно), а я не могу не повторять, что счастье и несчастье всех нас не может зависеть ни на волос от того, проживем ли мы что или наживем, а только от того, что мы сами будем. Ну, оставь Костеньке миллион, разве он будет счастливее?»

Чтобы это не показалось пошлостью, надо пошире, подальше смотреть на жизнь. Какова наша с тобою жизнь с нашими радостями и горестями, такова будет жизнь настоящая у наших детей, и потому важно помочь им избавиться от того, что нам принесло несчастье, а ни языки, ни дипломы, ни свет, ни еще меньше деньги не принимали участия в нашем счастье и несчастье. И потому вопрос о том, сколько мы проживем, не может занимать меня; если приписывать ему важность, он заслонит то, что точно важно».

Но эти благие намерения и благие советы не всегда принимались и одобрялись теми, к кому были обращены.

23 октября, вероятно, отвечая на одно из последних вышеприведенных писем, С. А. пишет Л. Н-чу:

«Вчера получила первое письмо; мне стало грустно от него. Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона. Отпустил Андриана, которому без памяти хотелось дожить месяц, отпустил повара, для которого тоже это было удовольствие не даром получать свою пенсию, и с утра до вечера будешь работать ту неспорую физическую работу, которую и в простом быту делают молодые парни и бабы. Так уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить – это по твоим убеждениям и что тебе так хорошо; тогда это другое дело, и я могу только сказать: «наслаждайся», и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колонье дров,

ставление самоваров и шитье сапог, что все прекрасно как отдых и перемена труда, но не как специальное занятие. Ну, теперь об этом будет. Если бы я не написала, у меня осталась бы досада, а теперь она прошла, мне стало смешно, и я успокоилась на фразе: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

И в тот же день, как бы спохватившись в нанесении Л. Н-чу боли, С. А. спешит исправить свою ошибку и пишет ему теплое слово:

«...Я вдруг себе ясно представила тебя, и во мне вдруг такой наплыв нежности к тебе. Такое в тебе что-то есть умное, доброе, наивное и упорное и все освещено только тебе одному свойственным светом нежного участия ко всем и взглядом прямо в душу людям».

Тем не менее намерение Л. Н-ча взять в свои руки хозяйство не осуществилось. И у нас нет достаточно данных, чтобы выяснить причины этого. Будем ждать, что время осветит нам этот важный момент в жизни Л. Н-ча.

В ноябре Л. Н-ч снова в Москве.

В конце этого месяца в моей жизни произошло событие, круто изменившее мою жизнь. 21 ноября 1884 года я познакомился со Л. Н-чем Толстым. Меня привез к нему мой друг В. Г. Чертков, с которым я познакомился и подружился несколько раньше. От него я впервые узнал и полюбил писания Л. Н-ча и в нем я в первый раз в моей жизни узнал чело-

века, душевным согласием откликнувшегося на мое понимание сущности христианской религии, которая еще в юности моей представлялась для меня несовместимой ни с каким насилием. И это юношеское убеждение мое сложилось без всякого влияния Толстого, которого я тогда еще и не читал, да и вообще помимо влияния светской литературы. Оно сложилось под влиянием просто чтения Евангелия и размышления о его истинном смысле в приложении к жизни. Когда-нибудь я расскажу подробно о том, как и куда завело меня это убеждение, а теперь скажу только, что В. Г. Чертков был первым человеком в моей жизни, прямо и категорически признавшим вместе со мною ту же истину, которая и связала нас узами дружбы.

Вот он-то и познакомил меня тогда с произведениями Л. Н-ча как человека (второго для меня), который так же, как и мы, понимал христианство. И когда я по своим личным обстоятельствам жизни освободился настолько, что мог отлучиться из дома, он меня повез ко Л. Н-чу в Москву, и вечером 21 ноября 1884 года мы посетили его и провели у него целый вечер. В дневнике моем того времени сохранилась краткая запись этого вечера, и я привожу из нее существенные места:

22 ноября 1884 года.

«...Вчера я посетил графа Л. Н-ча Толстого. Я ожидал встретить угрюмого старика, погруженного в свои занятия

исследования древних памятников христианской литературы. Меня встретил добрый, радушный человек, простота которого сразу очаровывает и привлекает к себе. Семейство его сидело за чайным столом. Мы сели туда же, т. е. я и В. Г. Чертков. Разговор сразу стал общим. Предметом его отчасти был я как кончивший морскую академию, как изучавший астрономию (Л. Н-ч тогда интересовался этой наукой) или, наконец, просто как новый человек.

Разговор коснулся Лизиновки, ее учреждений и, наконец, перешел-таки на вопрос о христианстве. Когда я в первый раз взглянул на графа, передо мной восстали «Война и мир» и «Анна Каренина». Вот, говорил мне внутренний голос, вот та голова, то сердце, которые создали все эти чудные образы, которые так мощно волновали твои юные чувства. И только тогда, когда я справился с этим чувством, я вспомнил, что я пришел сюда не для «Анны Карениной», а для гораздо более важного дела, для разрешения вопроса жизни.

И в этой простой, задушевной беседе, которая продлилась за полночь, действительно решался вопрос жизни: не знаю, решился ли? Быть может, скоро решится, быть может, никогда. Никогда или скоро, на днях.

Ах, что это за сила! Чувствуешь, что она тянет и увлекает тебя и увлекает по наклонной плоскости, катишься все скорее и скорее, и сам помогаешь себе, потому что впереди светло.

И в это же время какая-то другая сила, мрачная, холодная,

цепляется и шепчет: куда ты, опомнись, похоже ли это на все тобою пережитое, передуманное тобою самим и твоими мыслящими и чувствовавшими предками?

Господи, перенесу ли я это? Не разорвут ли меня эти две силы пополам и не останусь ли я на всю жизнь раздвоенным?

Л. Н-ч рассказал нам о новом, недавно найденном памятнике христианской литературы «Учение двенадцати апостолов» и рассказал чудную аналогию, которая приводится там. На вопрос, как узнать: ложный пророк или истинный, «истинный пророк тот, – говорится там, – который поступает по словам своим, делает то, что проповедует, подобно тому как хозяин сам вкушает от той трапезы, которой угощает гостей».

Нет возможности, конечно, да, пожалуй, и необходимости передавать весь наш разговор вчерашний.

Я упомяну еще об одной мысли, высказанной Львом Николаевичем. Он вспомнил мысль профессора Бугаева о нравственных и физических законах. Я сделал слабое возражение, сказав, что многие выводят законы нравственные из законов физических как их ближайшее следствие.

Л. Н-ч, немного повысив голос, заметил: «Да ведь нам нужны те нравственные законы, которые учат нас, как поступать с каждым отдельным лицом, с вами, с женой, с извозчиком, с мужиком, а разве те господа касаются этих законов? Они выводят те общие законы, которые нам никогда и применять-то не придется в жизни, до которых нам и де-

ла-то нет. А вот эти-то законы и освещаются светом христианства».

Когда теперь, через 24 года, я перепечатаваю эти строки, я живо восстанавливаю в моей памяти этот знаменательный вечер. Я вспоминаю, с какой деликатностью Л. Н-ч отнесся ко мне. Разговор зашел о несовместимости некоторых человеческих профессий со званием христианина. Лев Николаевич очень мягко и широко говорил о том, как можно быть «христианином» во всевозможных профессиях.

«Конечно, – оговорился он, – я должен исключить из этого числа по крайней мере две профессии: военную и судебную». И, посмотрев на меня, прибавил: «Простите, что я говорю это в вашем присутствии». А на мне был тогда военно-морской сюртук. Л. Н-ч знал уже, как я отношусь к военной службе, и я знал, что он это знает, и что я носил эту форму уже лишь по инерции, готовясь перейти на гражданскую службу. Но как мне было тогда стыдно за свою военную форму!»

Вскоре после нашего свидания Л. Н-ч снова уехал в Ясную Поляну. Он написал оттуда С. А. письмо; мы заимствуем из него прелестную поэтическую картинку:

Декабря 8, 1884 года.

«Вчера, когда я вышел и сел в сани и поехал по глубоко-

му, рыхлому, в поларшина (выпал вновь) снегу, в этой тишине, мягкости и с прелестным зимним звездным небом над головой, с симпатичным Мишей, я испытал чувство, похожее на восторг, особенно после вагона с курящей помещицей в браслетах, с доктором, перорорирующим о том, что нужно казнить, с какой-то пьяной ужасной бабой в разорванном салопе, бесчувственно лежавшей на лавке и опустившейся тут же, и с господином с бутылкой в чемодане, и со студентом в пенсне, и с кондуктором, толкавшим меня в спину, потому что я в полушубке. После всего этого Орион, Сириус над Засекой, пухлый, беззвучным снег, добрая лошадь и добрый воздух, и добрый Миша, и добрый бог».

С этого времени мое отношение ко Л. Н-чу меняется, он уже перестает быть для меня высоким, но далеким учителем и литературным гением, он становится для меня близким и горячо любимым другом. На этом я и кончаю свой второй том. Следующий, третий том я буду уже писать по личным воспоминаниям, добавляя и проверяя их другим материалом и описанием главнейших событий из жизни Л. Н-ча, в большей части которых мне самому приходилось принимать участие.

Поэтому литературный характер третьего тома будет несколько иной. Но одна и та же руководящая нить должна связать все три тома: правда и любовь к тому, кого я изображаю.

П. Бирюков.

Кострома,

с. Ивановское,

7 августа 1908 г.